БАЛЬДАССАРЕ КАСТИЛЬОНЕ

ПРИДВОРНЫЙ

Издательство КоЛибри

Бальдассаре Кастильоне
Придворный

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66554930
Придворный / Бальдассаре Кастильоне: КоЛибри; 2021
ISBN 978-5-389-20256-6

Аннотация

Сочинение итальянского дипломата, писателя и поэта Бальдассаре Кастильоне (1478–1529) «Придворный», соединяющее воспоминания о придворной жизни герцогства Урбино в начале XVI века с размышлениями о морали, предназначении, стиле поведения дворянина, приближенного к государю, – одна из тех книг эпохи Возрождения, что не теряли популярности на протяжении последующих веков и восхищали блестящие умы своего и будущих столетий. Для истории культуры труд Кастильоне явился подлинной сокровищницей, и сложно представить, насколько более скудными оказались бы знания потомков об эпохе Возрождения, не будь он создан.

Составленное в виде сборника занимательных и остроумных бесед, это ярко и непринужденно написанное произведение выходит за рамки источника сведений о придворных развлечениях своего времени и перечня достоинств совершенного придворного как всесторонне образованного и утонченно воспитанного человека, идеального с точки зрения

гуманистических представлений. Создавая «Придворного» почти одновременно с известным трактатом Макиавелли «Государь», Кастильоне демонстрирует принципиально иной подход к вопросу, что такое реальная политика и человек, ее вершащий.

Как ни удивительно, за почти пятисотлетнюю историю этой знаменитой книги не было осуществлено ни одного полного ее перевода на русский язык, были опубликованы лишь отдельные фрагменты. И вот наконец у нас есть возможность познакомиться с прославленным памятником литературы в полном переводе.

Содержание

Вступительное слово к российскому читателю 5
Досточтимому и славному господину дону 7
Мигелу да Силва, епископу Визеу{1}
Первая книга 22
Вторая книга 158
Конец ознакомительного фрагмента. 260

Бальдассаре Кастильоне
Придворный

Вступительное слово к российскому читателю

Перед вами книга, своеобразие которой в том, что она может быть прочитана под очень разным ракурсом. Ее можно прочесть просто как легкий, ненавязчивый, в полном смысле слова светский разговор о правилах хорошего тона; можно – как трогательное, хоть и приукрашенное, подернутое ностальгической дымкой, воспоминание о дворе герцогов Урбино, чей облик обессмертило искусство двух великих мастеров – Пьеро делла Франческа и Рафаэля. Книга большого друга Рафаэля, графа Бальдассаре Кастильоне (1478–1529) позволяет себя читать «не напрягаясь», на досуге. Оба главных антагониста шестнадцатого века, изнуривших Европу бесконечными войнами, император Карл V и французский король Франциск I, чрезвычайно любили эту книгу и, говорят, держали каждый у себя под подушкой, читая на ночь. «Книга о Придворном» была любимой книгой десяти поколений европейского дворянства, а в буржуазную эпоху заложила основы жизненной философии и эстетики

дендизма, объединившей цвет английской культуры девятнадцатого века, от Байрона до Уайльда. Почему при такой популярности «Придворный» практически не проник в Россию до самого конца императорской эпохи – особый вопрос, над которым стоит подумать. (Об этом и о многих других интересных проблемах, связанных с этим сочинением, как и о судьбе ее автора, пойдет речь в большой сопроводительной статье к тексту.)

Наш перевод продиктован не только желанием заполнить давнюю лакуну, уплатить некий исторический и культурный долг. Книгу Кастильоне, со дня публикации которой скоро исполнится пятьсот лет (1528), настала пора прочесть внимательнее, пристальнее, осознав ее как плод зрелых, совсем не «досужих», а взволнованных и выстраданных размышлений человека, через судьбу которого прошли и тяжелые бури, и злодейства, и самые светлые и прекрасные порывы его эпохи. Углубляясь во внутренний мир автора, обнаруживая ходы его мысли, скрытые от поверхностного, беглого взгляда, мы обнаружим, что и для нашего времени имеет не отвлеченную, но живую практическую ценность его мысль о политике как об искусстве человеческих отношений как таковых. И мы, возможно, по-новому задумаемся о сложных, неочевидных, даже причудливых связях между политикой и искусством, политикой и поэзией, политикой… и любовью.

Переводчик

Досточтимому и славному господину дону Мигелу да Силва, епископу Визеу[1]

I

Когда синьор Гвидобальдо да Монтефельтро, герцог Урбинский[2], покинул этот мир, я вместе с некоторыми другими рыцарями, ему служившими, остался на службе у герцога Франческо Мария делла Ровере[3], его преемника в го-

[1] Мигел да Силва (ок. 1480–1556) – португальский аристократ, граф. Посол португальского короля в Риме с 1514 г., с 1526 г. – епископ Визеу, в 1539 г. получил сан кардинала. Обвиненный в измене королем Жоаном III, был лишен португальского подданства, но продолжал успешную карьеру при папском дворе до конца жизни. Был известен широкой гуманистической образованностью.

[2] Гвидобальдо да Монтефельтро (1472–1508) – сын Федерико да Монтефельтро (1422–1482). Стал герцогом Урбино после смерти отца, в возрасте десяти лет. Несмотря на тяжелую болезнь (подагру), участвовал в ряде военных кампаний на стороне Святого престола при папе Александре VI. Тем не менее в 1502 г. был изгнан из Урбино войсками сына папы, Чезаре Борджиа, намеревавшегося овладеть всей Центральной Италией; вернул себе герцогство после смерти Александра VI, в 1503 г. Неспособный иметь наследника, вскоре усыновил юного Франческо Мария делла Ровере, приходившегося племянником и ему самому, и новому папе Юлию II.

[3] Франческо Мария делла Ровере (1490–1538) – сын Джованни делла Ровере, герцога Соры, синьора Сенигальи, племянник кардинала Джулиано делла Рове-

сударственном правлении по праву наследства, и поскольку в душе моей еще живо было благоухание добродетелей герцога Гвидобальдо и то удовольствие, которое доставило мне в его дни дружеское общение со столь превосходными людьми, обретавшимися тогда при урбинском дворе, память о том побудила меня написать эти «Книги о Придворном» {4}, что я и сделал в течение немногих дней, намереваясь со временем исправить огрехи, порожденные стремлением поскорее уплатить долг памяти. Но долгие годы фортуна беспрерывно держала меня под гнетом столь тяжелых испытаний, что я вовсе не имел возможности довести книги до такого

ре, в будущем папы Юлия II. Рано остался без отца. Изгнанный в 1502 г. из родового владения войсками Чезаре Борджиа, нашел приют у дяди по матери, герцога Гвидобальдо. Усыновленный им в 1504 г., в 1505 г. женился на Элеоноре Гонзага, племяннице супруги Гвидобальдо, герцогини Элизабетты. В 1508 г. стал герцогом Урбино и вслед за тем получил звание генерал-капитана Церкви, т. е. главнокомандующего войск Святого престола. В 1517 г. лишен герцогства папой Львом X, передавшим Урбино своему племяннику Лоренцо II Медичи. После смерти папы в 1521 г. смог вернуть Урбино и свое положение в папском войске. В течение 1510-х и 1520-х гг. участвовал в ряде военных кампаний. Проявил нерешительность при вторжении в Италию германских ландскнехтов императора Карла V (1526); отсутствие деятельного сопротивления им привело в конечном счете к разграблению Рима в марте 1527 г. В относительно мирные 1530-е гг., следуя традиции урбинского дома, мог посвящать больше времени престижному строительству и меценатству. Умер, отравленный своим брадобреем.

{4} В рукописях сочинение Кастильоне ходило под заглавием «Четыре книги о Придворном». Первое венецианское издание 1528 г., а также сделанные с него вскоре французский и испанский переводы вышли как «Il Libro del Cortegiano» («Книга о Придворном»), а в дальнейшем книга чаще издавалась как «Il Cortegiano» («Придворный»). Вариативность сохраняется и в современных изданиях.

состояния, чтобы мой несовершенный вкус остался ими удовлетворен.

Когда же я находился в Испании и из Италии мне сообщили, что синьора Виттория Колонна, маркиза Пескары[5], для которой я прежде сделал копию книги, нарушила данное мне обещание, отдав ее значительную часть в переписку, – [то] я не мог не почувствовать некоторое беспокойство, опасаясь многих неприятностей, которые в подобных случаях могут произойти, и тем не менее, веря, что у этой дамы, чьи добродетели я всегда чтил как нечто божественное, достанет разума и осмотрительности на то, чтобы я не понес какого-либо ущерба, подчинившись ее пожеланиям. Наконец, я узнал, что упомянутая часть книги ходит в Неаполе по рукам многих, и, поскольку люди всегда жадны до новинок, подумал, что кто-нибудь попытается ее напечатать. Встревоженный такой опасностью, я решился наскоро поправить в книге то немногое, что позволяло время, с намерением ее скорее опубликовать, считая меньшим злом увидеть ее мало

[5] Виттория Колонна (1490/1492–1547) – известная поэтесса. Происходя из знатного римского рода, по матери приходилась герцогу Гвидобальдо двоюродной племянницей. В 1509 г. выдана замуж за маркиза Пескары, Фернандо д'Авалоса, кондотьера на службе испанского двора, который проводил всю жизнь в военных походах и с женой почти не виделся. В 1525 г. овдовела; уделяла много энергии литературным занятиям и делам христианской благотворительности. Вдохновительница религиозного кружка, ставившего задачей реформацию католической церкви, не выходящую из рамок ортодоксии. Уже на склоне лет Виттория стала объектом пылкой платонической любви Микеланджело и адресатом его любовных стихов.

исправленной собственной рукой, нежели сплошь истерзанной чужими.

Итак, чтобы исполнить свое намерение, я принялся ее перечитывать; и на первом же развороте, как только прочел заголовок, меня охватила немалая печаль, которая становилась все сильнее, чем дальше я продвигался. Ибо я вспоминал, что большинство собеседников, представленных мной, уже умерли: кроме лиц, упомянутых в предисловии к последней части, умер и сам мессер{6} Альфонсо Ариосто, которому адресована эта книга, обходительный и скромный молодой человек чудеснейшего нрава, способный ко всему, что подобает делать придворному{7}. Умер и герцог Джулиа-

---

{6} Мессер – вежливое обращение к любому человеку из «приличного общества» – как дворянину, так и состоятельному горожанину, уважаемому мастеру, человеку искусства. Женская форма – мадонна. Синьор (или синьора), с прибавлением имени, – так обращаются к феодальным владетелям городов, замков и селений, независимо от величины их владения. В контексте книги это слово иногда уместнее переводить как «государь», чем как «господин». Синьор, без прибавления имени, – на всем протяжении книги так обращаются к Франческо Мария делла Ровере, наследнику герцога; синьора (тоже без прибавления имени) – к герцогине Элизабетте Гонзага: все участники находятся в государстве, где абсолютным главой, государем является ее муж, а она – государыней. Вторая, к кому обращаются точно так же, – ее сноха и наперсница Эмилия Пиа, – не потому, чтобы ее положение при дворе было особенно высоко, но потому, что герцогиня назначает ее председателем и распорядителем бесед от своего лица, «наделяя всей своей властью» (см. с. 25).

{7} Альфонсо Ариосто (1475–1525), начав карьеру придворного при дворе феррарских герцогов д'Эсте, с 1496 г. перешел на службу к герцогу Миланскому Лудовико Сфорца. Здесь и произошло его знакомство с Кастильоне. В 1499 г. он вернулся в Феррару, где оставался на дипломатической службе все оставшиеся

но деи Медичи, доброта и благородная любезность которого заслуживали, чтобы мир наслаждался ими более долгое время{8}. Мессер Бернардо{9}, кардинал Святой Марии в Портике{10}, за остроту и приятную живость ума любимый всеми, кто его знал, – и тот умер. Умер синьор Оттавиано Фрегозо{11}, человек по нашему времени редчайший: великодуш-

годы жизни. Двоюродный дядя поэта Лудовико Ариосто. Кастильоне называет Ариосто, скончавшегося пятидесятилетним, «молодым человеком», конечно, по воспоминаниям об их юношеской дружбе.

{8} Джулиано деи Медичи (1479–1516) – третий сын Лоренцо Великолепного, унаследовавший его прозвище, далее к нему так и будут обращаться: синьор Маньифико (Великолепный). После смерти брата Пьеро на короткий срок стал синьором Флоренции, из которой изгнан в 1494 г. за открытое служение интересам французской короны. Годы изгнания провел при дворе Урбино и в Венеции. В 1512 г. вместе с другим братом, Джованни (будущим папой Львом X), и с помощью испанских войск отвоевал Флоренцию. С 1513 г. капитан Флорентийской республики. Король Франции, заинтересованный в союзе с Флоренцией, удостоил его титула герцога Немурского. Герцог Джулиано скоропостижно умер во время совместных приготовлений папской и французской дипломатии к тому, чтобы выставить его претендентом на неаполитанский престол.

{9} Бернардо Довици да Биббиена (1470–1520) – с молодых лет придворный у семейства Медичи. В годы их изгнания из города (1494–1512) входил в свиту Джованни Медичи (будущего папы Льва X), проживавшего при урбинском дворе. В 1513 г. получил от Льва X кардинальский сан, приобрел большой вес при папском дворе. Автор комедии «Каландрия», имевшей длительный успех у зрителей. В 1517 г. приказом папы Биббиена был на короткое время назначен командующим папским войском в борьбе против Франческо Мария делла Ровере, попытавшегося вернуть отобранное у него годом раньше герцогство Урбино.

{10} Церковь Святой Марии в Портике (Santa Maria in Portico) – одна из древнейших т. н. титулярных церквей Рима, представители которых входят в коллегию кардиналов.

{11} Оттавиано Фрегозо (ок. 1470–1524) – представитель влиятельного генуэз-

ный, благочестивый, исполненный доброты, разума, осмотрительности, учтивости, истинный друг чести и добродетели, столь достойный похвал, что хвалить его вынуждены были даже его враги; а тех несчастий, которые он вынес с величайшей стойкостью, было вполне достаточно, дабы уверить-ся, что фортуна как прежде была, так и ныне остается враждебна добродетели. Умерли и многие другие из упомянутых в книге, кому, казалось, природа обещала весьма долгий век. Но о чем невозможно и сказать без слез, это – что умерла сама синьора герцогиня{12}; и если дух во мне сокрушается от

ского рода, племянник герцога Гвидобальдо со стороны матери. С 1487 г., когда семейство Фрегозо было изгнано из Генуи, переселился в Урбино, где получил прекрасное образование и военную подготовку. Провел бóльшую часть молодости при дворе Урбино. В 1502–1504 гг. проявил доблесть в борьбе с войсками Чезаре Борджиа, защищая крепость Сан-Лео. С 1506 г. не раз безуспешно пытался овладеть Генуей; наконец, завоевав город с помощью испанского отряда, в июне 1513 г. был провозглашен дожем. Пытался проводить политику, направленную на примирение партий и международную защиту интересов генуэзского купечества. Во время французского вторжения в 1515 г. счел за единственный выход подчиниться Франции на условиях широкой автономии города и, отказавшись от титула дожа, принял пост королевского губернатора Генуи. Последовательно отстаивал интересы города, одновременно подавляя внутри его заговоры и мятежи. В мае 1522 г. Генуя после недолгой осады была взята испанцами, а Фрегозо, плененный их командиром Фернандо д'Авалосом, отправлен на о. Искью, где и умер. Знаменитые современники (П. Бембо, Н. Макиавелли, П. Альчионьо, Дж. Садолето) отзывались о нем с похвалами как о высоконравственном человеке, талантливом и мужественном политике, носителе высокой культуры.

{12} Элизабетта Гонзага (1471–1526) – дочь маркиза Мантуи Федерико I Гонзага и Маргариты Баварской. В 1488 г. выдана замуж за герцога Урбинского Гвидобальдо да Монтефельтро, больного и неспособного к супружеской жизни, о чем не была предупреждена. С достоинством переносила тяготы жизни с боль-

потери стольких моих друзей и государей, оставивших меня в этой жизни, словно в пустыне, полной невзгод, то насколько горше для него скорбь от кончины синьоры герцогини, нежели кого-либо другого, ибо она превосходила всех остальных, и я привязан к ней был больше, чем к кому бы то ни было еще.

Итак, дабы не опоздать с уплатой долга, которым я связан] перед памятью столь превосходной государыни и других, кого уже нет в живых, а кроме того, понуждаемый опасностью, нависшей над книгой, я дал ее напечатать и распространить в таком виде, как позволила мне срочность дела. Поскольку же вам ни о синьоре герцогине, ни о других, ныне покойных, кроме герцога Джулиано и кардинала Святой Марии в Портике, не довелось составить представление при их жизни, то, чтобы вы получили его, насколько в моих силах, хотя бы после их смерти, я посылаю вам эту книгу, словно живописный портрет урбинского двора, выполненный не рукой Рафаэля или Микеланджело, но художника неважного, умеющего набросать лишь общие контуры, не расцвечивая правду приятными красками и не изображая иллюзорно с помощью искусства перспективы то, чего нет. И, как ни старался я показать в беседах подлинные качества и манеры упомянутых лиц, признаю, что не сумел ни выразить, ни даже обозначить

ным мужем и военные невзгоды; была дважды изгнана из Урбино – в 1502 г. (см. примеч. 2) и в 1517 г. (см. примеч. 3). После того как в 1521 г. Франческо Мария делла Ровере снова овладел герцогством, вернулась с ним и герцогиня Элизабетта. Славилась покровительством людям науки и искусства.

добродетели синьоры герцогини; ибо не только слога моего недостаточно, чтобы выразить их, но и моих умственных способностей, чтобы их вообразить. И пусть меня порицают в этом или в еще чем-то достойном упрека (ибо я хорошо сознаю, что огрехов в книге немало), – я, во всяком случае, не стану уклоняться от истины ради красоты слога.

II

Но поскольку люди подчас находят такое удовольствие в попреках, что порицают даже не заслуживающее порицаний, некоторым, осуждающим меня за то, что я не подражал Боккаччо или не считал себя обязанным следовать обыкновению тосканской речи нашего времени{13}, не премину от-

{13} По ряду исторических и географических факторов Италия является страной с огромным количеством диалектов, подчас имеющих такие отличия между собой, что носители одного вовсе не понимают носителей другого. Число диалектов, во всяком случае превышающее сотню, измерить точно весьма трудно, так как внутри каждого крупного диалекта можно вычленить более мелкие варианты. Это положение уходит корнями, вероятно, еще в Античность, когда местные варианты народной латыни складывались под влиянием языков древних италийских племен (лигурский, оскский и др.), а также греческого на юге и кельтских языков на севере полуострова. В Средневековье различия были усилены феодальной раздробленностью и внешними воздействиями, оставлявшими глубокие следы в языке (переселения германцев в IV–VI вв., вторжения арабов и норманнов и далее, вплоть до франко-испанских войн XVI в.). Первые заметные шаги к сложению литературного общеитальянского языка относятся к XIII в. и связаны с деятельностью т. н. тосканско-сицилийской поэтической школы, а также с проповедью св. Франциска Ассизского и его учеников на «народном языке».

ветить следующее. Хотя Боккаччо, обладая, по своему времени, гибким дарованием, местами писал изобретательно и мастерски, однако он писал гораздо лучше, когда вверялся лишь дару и природному чутью, без всякого иного пристрастия и заботы об отделке написанного, нежели когда тщательно и принужденно старался быть как можно более изысканным и правильным. И сами его приверженцы подтверждают, что он весьма погрешал в суждении о собственных вещах, низко ценя то, что доставило ему честь, и высоко – то, что не стоит ничего. Так что, подражая манере письма, которую порицают даже те, кто в остальном его хвалит, я не смог бы избежать по меньшей мере таких же упреков, которые за нее делали самому Боккаччо. И заслуживал бы их больше,

---

Свои канонические литературные образцы этот «народный язык» (в специальной литературе он и называется «вольгаре»; от volgo – простой народ) получил в XIV в. в творчестве великих тосканцев – Данте Алигьери, Франческо Петрарки и Джованни Боккаччо. Основой для него стали тосканские диалекты (прежде всего флорентийский); впрочем, в литературной форме вольгаре подчас стремился к восстановлению близости с латинскими формами, к очищению от слов сугубо местных, а также к использованию и внетосканского лингвистического материала. Дискуссия относительно форм и путей развития итальянского литературного языка, начатая трактатом Данте «De vulgari eloquentia» (заглавие традиционно переводится на русский как «О народном красноречии», 1303–1305), велась и в последующие века и не до конца угасла даже в наши дни. В начале XVI в. одной из авторитетных позиций была опора на язык тосканской поэзии и прозы XIV в. как на единственную норму литературной речи, провозглашенную П. Бембо. Кастильоне, будучи многолетним другом и корреспондентом Бембо, имел, как мы увидим из дальнейшего изложения, другую точку зрения. Впрочем, при подготовке к печати текст книги Кастильоне был отредактирован издателями в сторону большего соответствия тосканским языковым нормам.

чем он: поскольку он погрешал, думая, что делает хорошо, а я – сознавая, что делаю плохо. А подражай я тому способу, который у многих считается хорошим, но сам Боккаччо его не столь ценил, – мне казалось бы, что таким подражанием я заявляю о несогласии с суждением того, кому подражаю, – что, по-моему, было бы нелепым. И если бы даже это соображение на меня не подействовало, я не смог бы в само́м предмете подражать ему, не писавшему ничего сходного по теме с моими «Книгами о Придворном»; а в языке, как полагаю, не был бы и должен, ибо сила и истинная правильность хорошей речи больше, нежели в чем-то ином, заключаются в доходчивости, и всегда считается недостатком использование слов неупотребительных. Поэтому странно было бы мне использовать многие из слов Боккаччо, которые в его время были в ходу, а теперь оставлены самими же тосканцами. Не считал я себя обязанным использовать и нынешнюю тосканскую речь – ибо торговля между различными народами всегда приводила к тому, что от одного к другому переходят как товары, так и новые речения, которые затем либо сохраняются, либо утрачиваются, будучи приняты в обиход или отвергнуты. И это, кроме свидетельств у древних, ясно видно и у Боккаччо, у которого так много слов французских, испанских и провансальских, иные из которых, возможно, не очень понятны и нынешним тосканцам, что если их все удалить, то книга его изрядно уменьшится в объеме. И поскольку, по моему мнению, нельзя до конца пренебрегать наречиями дру-

гих именитых городов Италии, где сходятся мудрые, даровитые и красноречивые люди, рассуждая на важные темы государственного правления, наук, военного искусства и разных занятий, то я считаю себя в полном праве употреблять на письме те из слов, используемых в этих краях, которые имеют в себе приятность, красоту в произношении и всеми считаются хорошими и выразительными, пусть они будут и не тосканского или даже не итальянского происхождения. Кроме того, в Тоскане в ходу много явно испорченных латинских слов, которые в Ломбардии и других частях Италии сохранились нетронутыми и без какой-либо перемены и при этом используются настолько всеобще, что благородные считают их приличными, а простолюдины без труда понимают. Так что не думаю, что я допустил ошибку, употребляя в книге иные из таких слов и охотнее выбирая чистое и подлинное в наречии моей родины, нежели испорченное и поврежденное в чужом. Мне не кажется добрым правилом то, что, как говорят многие, народный язык тем красивее, чем меньше имеет сходства с латынью; и не понимаю, почему одному наречию следует придавать намного более значительный авторитет, чем другому; чего ради думают, будто тосканское наречие способно испорченные и неуклюжие латинские слова облагородить и придать им такое изящество, что даже в такой поврежденности всякий может их использовать как добротные (с чем я не спорю), а ломбардское или любое другое – не вправе хранить те же латинские слова чи-

стыми, целыми, подлинными, ни в чем не искаженными, так чтобы их хотя бы терпели. Поистине, как желание создавать новые слова или сохранять, вопреки обыкновению, вышедшие из употребления старые можно назвать дерзкой самонадеянностью, так желание наперекор тому же обыкновению истреблять и словно заживо хоронить слова, живущие веками, огражденные щитом использования от зависти времени и сохраняющие достоинство и блеск даже тогда, когда из-за войн и разрушений в Италии исказились язык, здания, одежда, обычаи, – такое желание не только трудноисполнимо, но и почти нечестиво. Поэтому мне кажется извинительным, что я не захотел ни пользоваться словами Боккаччо, вышедшими из употребления в Тоскане, ни подчиняться закону тех, что считают недопустимым использование слов, не употребляемых в Тоскане теперь. Полагаю, что и в предмете книги, и в ее языке – в той мере, в какой один язык способен помогать другому, – я имею образец среди авторов, достойных похвалы не менее Боккаччо; и не думаю, что ошибся с выбором: пусть лучше во мне узна́ют ломбардца по моей ломбардской речи, чем не тосканца – по тому, что я буду говорить слишком по-тосканьски: чтобы не вышло со мной, как с Теофрастом, в котором простая старуха узнала не афинянина, оттого что он говорил слишком по-афински[14]. Но

[14] Феофраст (ок. 370 – между 288 и 285 г. до н. э.) – греческий философ, естествоиспытатель, теоретик музыки. Родившись на Лесбосе, с молодых лет жил в Афинах, куда приехал ради образования. Преемник Аристотеля во главе школы перипатетиков (Ликея). Этот случай передает Цицерон в диалоге «Брут, или

поскольку об этом достаточно говорится в первой книге, я, устраняя предлог для всякого спора, признаюсь своим порицателям в одном: *их* тосканским наречием, столь трудным и таинственным, я попросту не владею; я писал на *своем*, так, как сам говорю, и для тех, кто говорит, как я. И думаю, что никого этим не оскорбляю: ибо, по-моему, никому не запрещается писать и говорить на собственном языке; равно как никого не заставляют читать или слушать то, что ему не по нраву. И если они не захотят читать моего «Придворного», я нисколько не сочту себя оскорбленным.

III

Есть люди, которые говорят, что поскольку очень трудно и даже почти невозможно найти человека столь совершенного, каким я желал бы видеть придворного, то излишне его и описывать, ибо пустое дело обучать тому, чему нельзя научиться. Им я отвечаю, что предпочту заблуждаться вместе с Платоном, Ксенофонтом и Марком Туллием, рассуждавшими об умопостигаемом мире и идеях, среди которых, по их мнению, существуют идеи совершенного государства, совершенного государя, совершенного оратора {15}: ибо в нем

Об ораторском искусстве», 46.

{15} Имеются в виду знаменитые античные сочинения: 1) диалог Платона «Государство», где от лица Сократа ведется рассуждение о наилучшем устройстве греческого города-государства; 2) написанная Ксенофонтом «Киро-

также существует и идея совершенного придворного. Если я и не смог приблизиться к его образу пером, то хотя бы меньше труда потребуется от придворных, чтобы делами приблизиться к тому пределу и конечной цели, которую я предложил им в своем сочинении; и если при этом они не смогут достичь того совершенства (в чем бы оно ни состояло), которое я попытался изобразить, тот, кто более других к нему приблизится, будет наиболее совершенным, – так же, как если из многих лучников, стрелявших в одну мишень, никто не попал в середину, тот, кто к этому был ближе других, и является, без сомнения, лучшим. Иные же говорят, что я решил изобразить себя самого, уверив себя, будто во мне есть все те свойства, которые я приписываю придворному. Отвечая им, не хочу отрицать, что я стремился достичь всего, что хотел бы видеть в придворном; думаю, тот, кто не имеет некоторого опытного знания о вещах, рассматриваемых в книге, едва ли смог бы и писать о них, каким бы он ни был эрудитом. Но я не настолько чужд здравого суждения о себе, чтобы возомнить, будто я опытом знаю все, чего способен пожелать.

Покамест же защиту от этих обвинений (а возможно, и от

педия» («Воспитание Кира»), описывающая формирование качеств идеального монарха на примере Кира Старшего, создателя Персидского царства. В отличие от Платона, рассматривающего традиционную для греков модель самодовлеющего полиса, Ксенофонт описывает правителя сверхдержавы, предвосхищая будущую империю Александра; 3) трактат Марка Туллия Цицерона «О государстве» и несколько его диалогов, посвященных ораторскому искусству (на последние Кастильоне ссылается особенно обильно).

многих других) я вверяю суду общего мнения, поскольку чаще всего публика, даже не зная чего-то в совершенстве, природным инстинктом чувствует некий дух, исходящий от доброго и от дурного, и, даже не умея привести какой-то довод, одно с удовольствием принимает и любит, а другое отвергает и ненавидит. Так что, если книга в целом будет одобрена, я сочту ее удачной и достойной жить; если же не будет, сочту неудачной и буду думать о ней как о достойной забвения. И если даже общим судом мои обвинители не будут удовлетворены, то пусть хотя бы довольствуются судом времени, которое выводит в конце концов на свет скрытые изъяны всякой вещи и, будучи отцом истины {16} и нелицеприятным судьей, по всегдашнему своему обыкновению, выносит правый приговор о жизни или смерти написанного.

Бальд. Кастильоне

{16} Изречение взято у римского писателя II в. н. э. Авла Геллия. Ср.: Аттические ночи, XII, 11, 7: «Истина – дочь времени» (Геллий приводит эти слова со ссылкой на «одного из древних поэтов»).

Первая книга о придворном графа Бальдассаре Кастильоне к мессеру Альфонсо Ариосто

I

Я долго раздумывал, любезнейший мессер Альфонсо, какая из двух вещей для меня труднее: отказать вам в том, о чем вы так настойчиво и не раз у меня просили, или же исполнить это. Ибо, с одной стороны, мне казалось крайне суровым отказывать в чем-то, и особенно в похвальном, человеку, которого я очень люблю и который, как чувствую, очень любит меня; с другой же стороны, браться за дело, не зная, сможешь ли довести его до конца, казалось мне не подобающим тому, кто ценит справедливые упреки настолько, насколько их следует ценить. Наконец, после долгих раздумий, я решился испытать в этом деле, какую помощь могут оказать моему усердию преданность и сильное желание сделать приятное, – то, что в иных вещах обычно весьма усиливает у людей способности.

Итак, вы просите, чтобы я описал образец поведения, наи-

более приличествующий, на мой взгляд, благородному человеку, живущему при дворе государей, чтобы он мог и умел в совершенстве служить им во всяком разумном деле, получая за это от них благодарность, а от прочих похвалы. Одним словом, *каков* должен быть тот, кто заслуживает носить имя совершенного придворного, безупречного во всем. Обдумав эту просьбу, отвечаю вам, что, если бы мне самому не казалось бóльшим злом выглядеть недостаточно любезным в ваших глазах, нежели неблагоразумным в глазах всех других, я бы уклонился от этого труда, боясь прослыть самонадеянным у всех, кто знает, сколь трудно из великого разнообразия обычаев, употребляемых при дворах христианского мира, выбрать наиболее совершенную форму и как бы цвет этого придворного искусства. Ибо зачастую от привычки зависит, что одни и те же вещи нам нравятся или не нравятся; отчего порой и бывает, что обычаи, одежды, обряды и манеры, некогда бывшие в чести, становятся низкими и, наоборот, низкие становятся почитаемыми. Из чего ясно видно, что привычка больше, чем разум, имеет силу вводить между нами новое и предавать забвению старое; и кто пытается судить о совершенстве того или другого, часто ошибается. Итак, сознавая эту и многие другие трудности темы, на которую мне предложено писать, я вынужден кое-что сказать в свое оправдание и засвидетельствовать, что этот промах{17},

{17} «Промах», заключающийся в том, что мессер Альфонсо убедил друга писать на тему, превосходящую его способности, а тот согласился.

если можно назвать его так, мы с вами разделяем; так что если я подвергнусь порицанию, то и вы тоже, ибо вина взвалившего на меня груз не по силам должна считаться не меньшей, чем моя, коли я этот груз на себя взял.

Итак, положим начало задуманному нами и, если возможно, создадим такого придворного, чтобы тот князь, который будет достоин его службы, даже обладая малым государством, мог бы именоваться величайшим государем. В этих книгах мы не будем следовать определенному порядку или правилу в форме четких предписаний, какие обычно используются в обучении чему-либо; но по примеру многих древних, обновляя благодарную память, приведем некоторые беседы об этом предмете, некогда происходившие между людьми выдающимися. Ибо хотя сам я не участвовал в них, находясь в то время в Англии{18}, но, услышав о них вскоре по возвращении от лица, доподлинно мне их передавшего, все же попытаюсь их пересказать, насколько позволит память, чтобы вам стали известны суждения и мысли об этом предмете людей, достойных высшей похвалы, мнению которых в любом вопросе вполне можно доверять. И чтобы,

{18} В Англии Кастильоне находился как посол от герцога Гвидобальдо к королю Генриху VII; поводом миссии было награждение герцога орденом Подвязки, высшим знаком отличия английской короны, которым прежде был награжден его отец. Покинув Италию в конце августа 1506 г., Кастильоне прибыл в Лондон 1 ноября, где пробыл не больше месяца, т. к. 9 февраля уже извещал письмом свою мать о приезде в Милан. Задержавшись в Ломбардии, чтобы посетить мать и увидеть родные места, он вернулся к урбинскому двору 28 февраля 1507 г., т. е. примерно за неделю до начала бесед.

двигаясь по порядку, достигнуть цели, которую имеет в виду наш рассказ, не будет также лишним поведать, что́ послужило поводом к этим беседам.

II

На склоне Апеннин, обращенном в сторону Адриатического моря, почти в середине Италии находится, как всем известно, небольшой город Урбино. И хотя он расположен среди гор, и не столь приятных на вид, как, возможно, иные, созерцаемые нами во многих других местах, однако небо так милостиво к нему, что земля в его округе весьма тучна и богата плодами; так что, в придачу к благоприятному воздуху, там в изобилии имеется все потребное для человеческой жизни. Но из величайших благословений, которыми осенен этот город, главным считаю то, что в течение долгого времени им преемственно правили превосходнейшие государи – кроме некоторого промежутка, когда он оказался на какое-то время лишен их посреди всеобщих бедствий Итальянских войн. Не заходя слишком далеко, достаточно привести во свидетельство этого славную память герцога Федерико, бывшего во дни своей жизни светочем Италии[19].

---

[19] Федерико да Монтефельтро (1422–1482) – граф, а с 1474 г. – герцог Урбино. С 16 лет воевал в наемном войске знаменитого кондотьера эпохи Никколо Пиччинино во главе собственного отряда. В 1444 г., после убийства сводного брата Оддантонио, овладел властью в Урбино. И у современников, и у потомков

Нет недостатка в достоверных и многочисленных, еще живых свидетельствах его благоразумия, человеколюбия, справедливости, щедрости, неустрашимости духа и военного мастерства, в котором могут уверить его многочисленные победы, взятие неприступных крепостей, стремительность в походах, частые случаи, когда с немногими людьми он обращал в бегство большие и крепкие войска, и то, что он не проиграл ни одной битвы, по какой причине мы можем приравнять его ко многим славным древним. Он, среди прочих своих похвальных деяний, на крутом склоне, где расположен Урбино, построил дворец, по мнению многих, самый красивый, какой только можно найти по всей Италии; и так хорошо снабдил его всем потребным, что он казался не дворцом, но городом в форме дворца{20} – и не только тем, что обыкновенно бывает, вроде серебряной посуды, отделки комнат

возникали сомнения в его непричастности к заговору, хотя и противоположное никогда не было доказано. В последующие годы был занят укреплением своей власти, подавляя заговоры и мятежи, до самой смерти не оставлял службы кондотьера; неоднократно избирался главнокомандующим войск тех или иных коалиций. Был при этом одним из самых культурно-ориентированных правителей и крупнейших меценатов Италии; употребил огромные усилия и средства для создания дворцового ансамбля в Урбино и собирания его уникальной библиотеки.

{20} Аналогия между домом (конечно, аристократическим) и городом восходит к идеям архитектора и теоретика архитектуры Леона Баттисты Альберти (1404–1472): «Дом есть маленький город… при его постройке надо учесть почти все, что относится к строительству города: он должен быть вполне здоровым, иметь благоприятное положение, доставлять всякие удобства, которые нужны для жизни мирной, спокойной и отрадной» (пер. В. Зубова). Последователем Альберти был автор проекта урбинского дворца Лучано Лаурана.

драгоценной парчой, шелком и другими подобными материями, – но украсил его великим множеством древних статуй из бронзы и мрамора, самыми отменными картинами, разнообразными музыкальными инструментами – и не встречалось там ни единой вещи, которая не была бы редкостной и превосходной. Ко всему этому он, пойдя на большие траты, присоединил огромное собрание самых замечательных и редких книг на греческом, латинском и еврейском языках, которые все украсил золотом и серебром, полагая их самым блистательным достоянием своего обширного дворца {21}.

{21} Эту знаменитую библиотеку герцог Федерико собирал преимущественно во вторую половину правления, с 1460 по 1482 г., увлекшись книгами под влиянием своей образованной второй жены Баттисты Сфорца. Коллекция включала только рукописи, выполненные большей частью на пергаменте; многие из них были переписаны и богато украшены в собственном скриптории герцога. В составе библиотеки числилось более 600 книг на латыни и вольгаре, 168 – на греческом, 82 – на еврейском и 2 – на арабском; кроме полного собрания известных на то время античных авторов, она включала главным образом труды философского, теологического, естественно-научного и технического содержания. Библиотека не подверглась разграблению даже во время захватов Урбино войсками Чезаре Борджиа в 1502 г. и Лоренцо II Медичи в 1516 г. В 1517 г. Франческо Мария делла Ровере, на время отбив Урбино у Медичи, вывез книги деда в Мантую; они вернулись на место после его восстановления на урбинском престоле. Собрание было значительно расширено при его внуке Франческо Мария II (1549–1631), а после смерти последнего, в связи с отсутствием наследника и присоединением герцогства к владениям Святого престола, было вывезено в Рим, где вошло в состав Ватиканской апостольской библиотеки.

III

Итак, названный князь, сообразно естественному ходу вещей, имея уже шестьдесят пять лет от роду, умер[22] так же славно, как и жил, – а сына десяти лет, единственного у него наследника мужского пола, лишившегося уже матери, оставил после себя государем: это был Гвидобальдо. Он казался наследником не только государства, но и всех добродетелей отца; и с самого начала, в силу своих удивительных достоинств, внушал столько надежд, скольких, казалось, нельзя было ожидать от смертного; люди даже считали, что среди выдающихся деяний герцога Федерико не было более значительного, чем то, что он произвел на свет такого сына. Но фортуна, завистливая к столь великой добродетели, всею силой противостала такому славному началу: ибо, не достигнув еще и двадцати лет, герцог Гвидобальдо заболел подагрой, которая, сопровождаясь жесточайшими болями, в недолгое время так парализовала все его члены, что он не мог ни стоять на ногах, ни двигаться; и таким образом одно из самых красивых и статных тел этого мира было обезображено и расстроено в цветущем возрасте. Не удовлетворившись и этим, фортуна была так враждебна всякому его замыслу, что лишь изредка он добивался результата в задуман-

[22] Федерико умер в возрасте шестидесяти лет.

ных им делах; и хотя ему были свойственны мудрая осмотрительность и стойкий дух, выглядело так, что все им предпринимаемое, хоть на войне, хоть во всем остальном, всегда кончается для него плохо. Свидетельством тому многие и разнообразные бедствия, которые он неизменно выносил с таким мужеством, что фортуне никогда не удавалось одолеть его добродетель. Напротив, презирая доблестной душой поднимаемые ею бури, он жил в болезни – словно здоровый, в злосчастиях – словно счастливейший, с великим достоинством и всеми почитаемый; и, невзирая на телесную немощь, он на самых почетных условиях сражался на службе у светлейших королей Неаполя Альфонсо {23} и Ферранте-младшего{24}, у папы Александра VI{25}, у венецианских и флорен-

---

{23} Альфонсо II (1448–1495) – старший сын короля Неаполя Ферранте I. Еще в бытность наследником престола стяжал недобрую славу распутством, жестокостью и вероломством; при этом не унаследовал широких культурных интересов отца и деда. Король в 1494–1495 гг. Бежал из Неаполя при наступлении на город войск французского короля Карла VIII, отрекшись от престола в пользу сына. Умер на Сицилии.

{24} Ферранте II, известный также как Ферранте-младший или Феррандино (1469–1496) – сын Альфонсо II, принявший от отца власть после отречения последнего от престола в 1495 г. Энергичный, доступный, с живым умом, в глазах современников он резко контрастировал с надменным и малоспособным отцом. При поддержке Испании успешно сражался с захватившими Неаполитанское королевство французами. Скончался от малярии.

{25} Александр VI (1431–1503) – в миру Родриго Борха (известен по итальянизированной форме фамилии: Борджиа), выходец из арагонского аристократического рода. Будучи племянником Каликста III (римский папа в 1455–1458 гг.) по линии матери, стал в 1456 г. кардиналом, а в следующем году – вице-канцлером

тийских правителей. Когда затем взошел на папский престол Юлий II{26}, он был назначен капитаном Церкви. Все это время, следуя своему обыкновению, он прежде всего другого заботился о том, чтобы дом его наполняли самые знатные и выдающиеся люди благородного звания, с которыми он держался очень просто, находя радость в общении с ними. При этом удовольствие, которое он доставлял другим, было не меньше, чем то, что он от них получал, будучи прекрасно обучен тому и другому языку{27} и соединяя радушие и любезность с познаниями в бесчисленном множестве вещей.

Святого престола. В последующие годы путем интриг и подкупа овладел большим количеством епархий и монастырей в Италии и за ее пределами. Избран папой римским в 1492 г. Вел политику укрепления личной власти, централизации и военно-дипломатического усиления Папского государства с крайним цинизмом, вероломством и жестокостью. Не знающая границ половая распущенность папы подавала повод к слухам (возможно, преувеличенным) о кровосмесительных и противоестественных связях внутри его семейства.

{26} Юлий II (1443–1513) – в миру Джулиано делла Ровере, из знатного итальянского рода. С 1471 г. – епископ г. Карпантра во Франции, с 1472 г. – кардинал. В кардинальском сане приобрел еще несколько богатых епископий в Италии и Франции (где был папским легатом), став одним из влиятельнейших членов курии. В 1490-е гг. главный и непримиримый противник Александра VI; после избрания последнего на папство был вынужден искать убежища у французского короля. Папа римский в 1503–1513 гг. Почти все время своего понтификата вел войны ради усиления Папского государства. В 1508 г. с целью ослабления Венецианской республики вступил в коалицию со Священной Римской империей, Францией и Испанией (Камбрейская лига), а в 1511 г. – в коалицию с Испанией, Англией и Венецией и швейцарскими кантонами, к которой присоединились затем Империя и Англия (Священная лига), стремясь к уничтожению французского военного присутствия в Италии.

{27} Латинскому и греческому.

Мало того, его так воспламеняло величие его духа, что он, хотя сам не мог лично упражняться в делах рыцарства, как прежде, но получал величайшее удовольствие, наблюдая за упражнениями других, и в словах своих, то поправляя, то хваля каждого по его заслугам, ясно показывал, насколько хорошо в этом разбирается. Поэтому в турнирах, в состязаниях, в скачках, в умении владеть любым оружием, равно как и в праздничных развлечениях, в играх, в музыке, словом, во всех занятиях, приличных для благородных рыцарей, всякий стремился выказать себя достойным столь высокого общения[28].

IV

Итак, все время дня было распределено по часам между досточестными и приятными занятиями как для тела, так и для души. Но поскольку синьор герцог по причине болезни после обеда довольно надолго удалялся для сна, все остальные обычно уходили в покои синьоры герцогини Элизабетты Гонзага, где вместе с нею неизменно находилась в тот час и синьора Эмилия Пиа[29], которая, будучи, как вы знаете, ода-

[28] Т. е. общения с герцогом.

[29] Эмилия Пиа да Карпи (нач. 1470-х – 1528) – вдова Антонио да Монтефельтро (ум. 1500), брата герцога Гвидобальдо по отцу (Антонио был внебрачным сыном герцога Федерико), по кончине мужа поселившаяся при урбинском дворе. Самая близкая подруга герцогини Элизабетты Эмилия разделила с ней тяготы двух изгнаний из Урбино. Как утверждала молва, умерла с книгой «При-

рена весьма живым умом и рассудительностью, руководила всеми, и каждый черпал от нее разум и добродетель. Итак, здесь звучали сладостные беседы и пристойные шутки, и на каждом лице была написана жизнерадостная веселость, так что этот дом без сомнения можно было назвать подлинным приютом радости. Не думаю, чтобы когда-либо в каком-либо другом месте можно было вкусить столько наслаждения от милого и любезного общества, как бывало там в те времена. И, не говоря о том, сколь велика была для каждого из нас честь служить такому государю, как тот, о ком я сказал выше, в душе каждого рождалась величайшая радость всякий раз, когда мы собирались перед очами синьоры герцогини. Казалось, эта радость была цепью, так соединявшей всех любовью, что и братья никогда не имели между собой большего единства воли и большей сердечной привязанности, чем та, что царила там между всеми. Так же велось и среди женщин, общение с которыми было весьма непринужденным и целомудренным; а именно: каждому позволено было разговаривать, садиться рядом, шутить и смеяться, с кем ему хотелось; но уважение к воле синьоры герцогини было столь велико, что сама свобода была крепчайшей уздой, и любой полагал величайшим удовольствием на свете угодить ей, а величайшим наказанием – ее огорчить. По этой причине с весьма широкой свободой здесь соединялись самые целомудренные нравы, и смех и шутки в ее присутствии были приправлены

дворный» в руках, взволнованная воспоминаниями.

не одними тонкими остротами, но и грациозным и степенным достоинством; ибо умеренность и величие, свойственные всем поступкам, словам и жестам синьоры герцогини, когда она шутила и смеялась, были таковы, что даже те, которые прежде ее никогда не видели, узнавали в ней женщину великого сана. Запечатлеваясь таким образом в окружающих, она придавала всем свой образ и качества, отчего каждый старался подражать этому ее стилю, перенимая правило добрых обычаев от присутствия столь славной и добродетельной женщины. Впрочем, моей целью здесь не является рассказывать о ее прекраснейших свойствах, так как передо мною стоит другая цель и потому что они достаточно известны миру – гораздо лучше, чем я мог бы описать их словом или пером. Те же из них, которые, возможно, были неким образом прикровенны, фортуна, как бы восхищаясь столь редкими добродетелями, пожелала обнаружить многими злоключениями и несчастьями, чтобы засвидетельствовать, что и в нежной груди женщины, одаренной к тому же и редкой красотой, могут жить благоразумие, крепость духа и все те доблести, что весьма редки даже у суровых мужчин.

V

Но, оставив это, повторю, что обычным было всем лицам благородного звания, которые находились во дворце, сразу после ужина собираться у синьоры герцогини, где среди дру-

гих приятных развлечений, музыки и танцев, бывших в обиходе, иногда предлагались занятные вопросы, а иногда затевались какие-нибудь остроумные игры по желанию одного или другого, в ходе которых присутствующие нередко под различными покровами сообщали свои помыслы, кому более хотели. Иногда возникали споры о различным вещах, или же они слегка жалили друг друга тут же придуманными остротами; часто составляли *импрезы*{30}, как мы теперь это называем; и из таких бесед можно было извлечь необычайное удовольствие, ибо, как я уже сказал, двор был полон отменных талантов. Среди них, как вам известно, были славные синьор Оттавиано Фрегозо, его брат мессер Федерико{31}, Джулиано Медичи, Маньифико, мессер Пьетро

{30} Импреза – символическая картинка с сопровождающим ее девизом, обычно на латыни, который сочинялся в связи с каким-то важным обстоятельством в жизни ее обладателя (данным или исполненным обетом, сильной любовью, изгнанием и т. п.). Этот жанр имел популярность среди дворянства всей Европы в XV–XVII вв.; разгадывание смысла импрез было светским развлечением. Их составлению и связанным с ними историям посвящались целые книги, например «Диалог об импрезах ратных и любовных» Паоло Джовио (1559), «О знаменитых импрезах» Дж. Рушелли (1566) и др.

{31} Федерико Фрегозо (1480–1541) – потомок одного из влиятельнейших родов Генуи, изгнанного из города в ходе борьбы партий. Вместе с братом (см. примеч. 11) вырос, получил образование и провел молодость при дворе Урбино. С 1507 г. – архиепископ Салерно. С 1513 г. – глава вооруженных сил Генуэзской республики; на этом посту успешно боролся с турецкими корсарами. В 1522 г. возглавлял оборону Генуи от испанских войск. После захвата города нашел убежище во Франции, где, получив сан аббата, продолжил свое образование, в частности занявшись изучением еврейского и халдейского языков. Увлекался также изучением каббалы. В 1526 г. участвовал в операциях французского флота

Бембо[32], мессер Чезаре Гонзага[33], граф Лудовико да Каносса[34], синьор Гаспаро Паллавичино[35], синьор Лудовико Пио[36], синьор Морелло да Ортона[37], Пьетро да Наполи[38],

---

в Италии. В 1529 г. вернулся в Италию; с 1539 г. – кардинал.

[32] Пьетро Бембо (1470–1547) – выходец из знатной венецианской семьи, писатель, поэт, переводчик, ученый-гуманист. Живя в Урбино с 1506 по 1512 г., являлся центральной фигурой придворного интеллектуального кружка. В 1513–1521 гг. – в Риме, приближенный папы Льва X. 1520-е гг. провел в Падуе, где, несмотря на принесение монашеских обетов, стал отцом троих детей от своей возлюбленной Морозины. Активно занимался здесь литературными трудами в стихах и прозе. В 1529 г. назначен официальным историографом Венецианской республики. С 1539 г. – кардинал.

[33] Чезаре Гонзага (1475–1512) – представитель младшей ветви рода Гонзага, кондотьер. Двоюродный брат по матери Кастильоне, был его близким другом. Служил у феррарского герцога Эрколе д'Эсте, затем у Чезаре Борджиа, с 1504 г. – на службе у герцога Гвидобальдо, после его смерти – у Франческо Мария делла Ровере. Автор лирических стихов в петраркистском духе; в соавторстве с Кастильоне им была написана пасторальная эклога «Тирси», поставленная в дворцовом театре герцогов Урбино весной 1508 г.

[34] Лудовико да Каносса (1475–1532) – из рода веронских графов, родственник Кастильоне по матери. В 1515 г. получил от Льва X епископский сан. Затем выполнял ответственные поручения французского двора, за которые был награжден епископством в Байё. В 1526 г. посол французской короны в Венеции. Последние годы жизни провел на родине, в Вероне.

[35] Гаспаро Паллавичино (1486–1511) – маркиз Кортемаджоре, правитель половины маленького двухчастного государства, носившего родовое имя своих владетелей – Паллавичино. Умер молодым от чахотки, оставив власть малолетнему сыну.

[36] Лудовико Пио (ум. 1510) – родственник Эмилии Пиа да Карпи, кондотьер-наемник на службе сначала у неаполитанских королей, затем у Лудовико Сфорца и, наконец, у папы Юлия II.

[37] Сиджизмондо Риккарди, по прозвищу Морелло да Ортона, из рода мар-

мессер Роберто да Бари{39} и без числа других благороднейших кавалеров; сверх того, было много таких, которые хоть и не жили здесь постоянно, однако проводили здесь бóльшую часть времени, как мессер Бернардо Биббиена, Унико Аретино{40}, Джован Кристофоро Романо{41}, Пьетро Монте{42},

---

кизов Ортоны, изгнанный из Неаполитанского королевства после его перехода под власть Испании (род Риккарди традиционно занимал профранцузскую позицию). Служил при дворах Урбино и Мантуи; ценился, в частности, как талантливый лютнист, сочинитель мадригалов и музыки к ним. О его высоком статусе при урбинском дворе говорит упомянутый в документах факт, что в 1504 г., когда герцогу Гвидобальдо было возвращено звание генерал-капитана Церкви, Морелло было доверено держать знамя папских войск при их торжественном освящении в урбинском соборе. В описываемое время ему должно было быть, вероятно, несколько за шестьдесят лет.

{38} Пьетро да Наполи – придворный родом из Неаполя, перешедший на службу к урбинским герцогам. Под его именем сохранилась рукопись перевода Книги Бытия с еврейского оригинала – единственная память о его ученых занятиях.

{39} Роберто да Бари, судя по происхождению из г. Бари в Апулии, также был эмигрантом из Неаполитанского королевства. В 1510–1511 гг. в составе папских войск участвовал в войнах против Венеции и Феррары. Жестоко простудившись во время зимней осады Мирандолы, уже не оправился от недуга и умер в 1512 г.

{40} Унико Аретино, т. е. Единственный (в значении: «неподражаемый») Аретинец – прозвище Бернардо Аккольти (1458–1535), уроженца Ареццо, поэта-импровизатора. За девять лет до описываемых событий он был изгнан из Флоренции по политическим мотивам и, живя постоянно в Риме, путешествовал по дворам итальянских властителей. Никогда не упускал из виду военно-политической конъюнктуры; поднося хвалебные стихи наиболее сильным и полновластным на тот или иной момент лицам (папе Александру VI и его сыну Чезаре, Лудовико Сфорца, Алессандро Фарнезе и др.), завязывая перспективные любовные романы (например, с Лукрецией Борджиа), собрал немалое состояние, позволившее ему в 1520 г. купить герцогство Непи, удержать которое ему, впрочем, не удалось. Аккольти так и умер изгнанником в Риме.

Терпандро{43}, мессер Николо́ Фризио{44}; итак, постоянно поэты, музыканты и всякого рода приятные и выдающиеся на любом поприще люди, которые только были в Италии, съезжались сюда.

{41} Джан (Джован) Кристофоро Романо (1456–1512) – скульптор и медальер. Работал над украшением герцогского дворца в Урбино как в самом начале своей художественной карьеры (1470–1480-е), так и в ее конце (после 1500). Был экспертом герцогской семьи в приобретении предметов искусства.

{42} Пьетро Монте (1457–1509) – знаменитый миланский оружейный мастер, а также учитель физической подготовки и фехтования.

{43} Антонио Мария Терпандро – музыкант, игравший на цистре, и певец. Пробовал себя в сочинении стихов в петраркистском духе. После 1512 г. – в капелле папы Льва X.

{44} Николо́ (итальянизированная форма имени) Фризио – уроженец Германии; его прозвище означает представителя германской народности фризов, живущей в Северной Германии и Нидерландах. Авантюрист, живший при многих итальянских дворах, оказывая высоким покровителям услуги дипломатического, разведывательного и иного характера. Сохранилась, в частности, переписка о приобретении им античных скульптур для мантуанской маркизы Изабеллы; в 1509 г. Фризио рассказывал о себе, будто от лица папы Юлия II подписывал договор о создании Камбрейской лиги. В книге представлен человеком довольно узких понятий; это, впрочем, не мешало ему водить дружбу с утонченными личностями, как Бембо, поэт да Порто и др. В одном из своих писем к матери 1506 г. Кастильоне живо рассказывает, как Фризио заботился о нем во время его тяжелой болезни. Возможно, в близкое к этому время (точная дата неизвестна) Кастильоне написал полемическое «Письмо к Фризио в защиту женщин», все аргументы которого впоследствии были включены в III книгу «Придворного» и приписаны разным персонажам книги. Последнее историческое известие о Фризио: в 1510 г. он принес монашеские обеты в картузианском монастыре Неаполя, известном правилами строгого затворничества; Бембо почтил поступок друга трогательным сонетом.

VI

После того как папа Юлий II в 1506 году, собственными силами и опираясь на помощь французов, привел Болонью в повиновение апостолическому престолу[45], на обратном пути в Рим он проезжал через Урбино, где был принят со всем возможным почетом и такой великолепной и блистательной пышностью, какую только могли себе позволить в каком-либо из славных городов Италии, так что как папа, так и все синьоры кардиналы и иные придворные остались в высшей степени довольны; и при их отъезде некоторые из свиты, привлеченные приятностью здешнего общества, на многие дни остались в Урбино[46]. В это время не только продолжались привычные празднества и развлечения в принятом здесь вкусе, но каждый стремился внести что-то от себя, особенно в игры, которые устраивались почти каждый вечер. А порядок их был таков: сразу после ужина все сходились в покои синьоры герцогини и садились кругом, каждый на месте, какое кому понравится или выпадет; причем женщины чередовались с мужчинами, пока хватало женщин, ибо почти всегда число мужчин было намного больше; ведущего по

[45] Папа Юлий II, во главе совместной экспедиции войск Святого престола и французской короны, вошел в Болонью 11 ноября 1506 г., изгнав оттуда местных властителей из рода Бентиволью.

[46] Папский кортеж прибыл в Урбино 3 марта 1507 г.

своему усмотрению выбирала синьора герцогиня, которая в большинстве случаев поручала это синьоре Эмилии.

Итак, на следующий день после отъезда папы, когда общество в установленное время собралось в обычном месте, после всяких приятных бесед синьора герцогиня пожелала, чтобы синьора Эмилия открыла игры; и она, сначала не соглашавшаяся на такое поручение, затем сказала:

– Госпожа моя, раз уж вам угодно, чтобы именно я дала начало играм этого вечера, я, не считая благоразумным ослушаться вас, решаюсь предложить игру, в которой, думаю, мне мало придется стыдиться и еще меньше трудиться. Суть ее в том, чтобы каждый предложил по своему вкусу игру, в которую мы еще не играли; из них будет выбрана та, что покажется наиболее достойной для этого общества.

После этого она обратилась к синьору Гаспаро Паллавичино, передав речь ему; и он тут же ответил:

– Вам, синьора, и подобает высказаться первой.

Синьора Эмилия молвила:

– Вот, я уже сказала; синьора герцогиня, прикажите ему повиноваться.

Синьора герцогиня с улыбкой произнесла:

– Чтобы вам повиновались, я назначаю вас моим наместником и наделяю всей моей властью.

VII

– Вот ведь какое дело, – ответил синьор Гаспаро, – женщинам всегда позволяется не утруждать себя, и, конечно, стоило бы как-нибудь выяснить причину этого. Но чтобы не стать первым ослушником, я отложу это до другого раза и скажу, что от меня требуется.

И начал так:

– Мне кажется, что как в прочих делах, так и в любовных наши души выбирают не одно и то же; зачастую то, что весьма желанно одному, ненавистно другому. При этом все согласны в том, что каждому в высшей степени дорого то, что он любит. И часто слишком сильная привязанность так омрачает рассудок любящих, что они считают любимого человека единственным в мире, украшенным всеми превосходнейшими достоинствами и не имеющим ни малого изъяна. Но поскольку человеческая природа не допускает столь полного совершенства и нет человека без недостатков, приходится сказать, что так судящие обманываются и что любящий бывает ослеплен тем, что́ он любит. Итак, я хотел бы в этот вечер устроить вот какую игру: пусть каждый скажет, украшенным какими достоинствами он особенно желал бы видеть человека, которого любит; а поскольку у всех поневоле есть какое-то пятно, – на какой порок в нем он был бы согласен. И посмотрим, кто сумеет найти самые похвальные и

полезные добродетели и самые простительные пороки, наименее вредные для обоих – того, кто любит, и того, кто любим.

Когда синьор Гаспаро кончил, синьора Эмилия дала знак продолжать мадонне Костанце Фрегозо[47], как следующей по очереди; и та уже собиралась начать речь, но синьора герцогиня остановила ее:

– Поскольку госпожа Эмилия не хочет утруждать себя поиском какой-либо игры, то будет справедливо и другим дамам воспользоваться тем же правом и быть освобожденными на этот вечер от подобного труда, – уже потому, что здесь столько мужчин, что нам никак не грозит остаться без игр.

– Пусть так и будет, – отвечала синьора Эмилия и, дав мадонне Костанце знак молчать, обратилась к мессеру Чезаре Гонзага, сидевшему подле нее, с тем чтобы говорил он. И он начал так:

VIII

– Тот, кому угодно внимательно рассматривать все наши поступки, всегда находит в них разные недостатки; потому

[47] Костанца Фрегозо (1472–1531) – сестра братьев Оттавиано и Федерико Фрегозо; воспитывалась, как и они, при урбинском дворе. Была предметом периодических ухаживаний со стороны Пьетро Бембо. Гораздо позже описываемых событий, в возрасте почти сорока лет, вышла замуж за графа Маркантонио Ланди из Пьяченцы.

что природа, многообразная в этом, как и во всех вещах, одному даровала свет разумения в одном, другому – в другом; почему и происходит, что – поскольку один знает то, в чем не понимает другой, и невежествен в том, в чем другой сведущ, – каждый легко замечает ошибку ближнего, но не свою, и все мы кажемся себе очень мудрыми, и, может быть, больше всего в том, чем мы более одержимы. Вот и в этом доме приходилось видеть, что многих, кого сначала считали весьма мудрыми, со временем узнали как совершенно безумных; и это произошло не от чего иного, как от нашего внимательного наблюдения. Говорят, в Апулии для лечения ужаленных тарантулом применяют различные музыкальные инструменты и пробуют разные звуки до тех пор, пока влага, вызывающая недуг, по причине определенного соответствия с одним из этих звуков, не приходит в движение, чувствуя его, и так сотрясает больного, что через это трясение он выздоравливает{48}. Вот так и мы, чувствуя какие-нибудь скрытые черты безумной одержимости какой-то страстью, тонко, с помощью всяких стимулов, очень разнообразно ее развивали, чтобы наконец понять, на что она направлена, а затем, узнав эту склонность, так хорошо ее встряхивали, что она всякий раз достигала степени безумия явного: и выходило,

{48} Древняя ритуально-магическая практика, сохранившаяся в Апулии, в округе города Саленто, вплоть до нашего времени. В XX в. большую известность получили посвященная исследованию этого феномена книга этнолога Эрнесто де Мартино «Саленто, земля раскаяния» (1959) и одноименный документальный фильм.

что один у нас одержим стихами, другой – музыкой, иной – любовью, иной – танцами, иной – мореской[49], иной – скачкой, иной – сражением на мечах, каждый согласно природе своей души. И наблюдение за этим, как вы помните, доставляло необыкновенное удовольствие. Итак, я уверен, что в каждом из нас есть некое семя безумия, и, если его пробудить, оно будет умножаться почти до бесконечности. Потому я хотел бы, чтобы нашей игрой сегодня вечером было обсуждение этого предмета и чтобы каждый высказал, например, обо мне: если мне предстоит стать явственно безумным, то каким видом безумия, по его мнению, я обуян и относительно какого предмета. Пусть он судит по тем искрам безумия, которые видят ежедневно излетающими из меня. Пусть вот так же скажут и обо всех остальных, соблюдая порядок наших игр, причем каждый постарается обосновать свое мнение какими-то верными признаками и доказательствами. И таким образом плодом нашей игры будет то, что каждый узнает свои недостатки и сможет лучше их сдержи-

[49] Мореска – название группы театрализованных танцевальных представлений, бытовавших первоначально в Италии и на Мальте, объединяя в себе пантомимные танцы, танцы с оружием, танцевальные битвы, танцы-соревнования и другие, в которых исполнители принимали на себя роли экзотических, мифических или фольклорных персонажей. В течение долгого времени мореске приписывали магрибское, т. е. арабское или берберское, происхождение, производя сам термин от слова «moro» – мавр; теперь некоторые исследователи склонны видеть в ней остаток очень древней собственно италийской традиции культового танца. Начиная со второй половины XV в. морески получили почти повсеместное распространение в Европе.

вать. И если поток безумия, который мы обнаружим, будет столь обилен, что оно покажется нам неисцелимым, поспособствуем ему и, согласно учению фра Мариано[50], приобретем душу; а это немало.

Такая игра вызвала много смеха, и не было никого, кто удержался бы сказать что-либо. Один говорил: «Давайте я буду одержим тем, о чем думаю», другой: «А я – тем, на что смотрю», третий: «А я уже безумен от любви», и иное подобное.

IX

Тогда фра Серафино[51], подсмеиваясь по своему обычаю, сказал:

– Эта игра слишком долгая; а если хотите хорошую игру,

---

[50] Фра Мариано Фетти (ок. 1460–1531) – доминиканский монах; в качестве шута и устроителя развлечений, подчас чрезвычайно грубых, имел успех при дворе Медичи и других итальянских дворах. С 1513 г. был шутом и хранителем личной печати папы Льва X (Джованни Медичи), привязанного к фра Мариано еще с детских лет. После смерти папы ходил слух, что именно фра Мариано принял его последнюю исповедь. Он действительно говорил о некой «благодати безумств», якобы почивавшей на нем: «Когда я прикасался к вам, еще такому нежному, только родившемуся, я этим касанием говорил вам о благодати безумств, так что без меня у вас их не было бы и без них вы никогда не получили бы поста капитана республики и войска и не могли бы даже просто вздохнуть» (из его письма к Лоренцо II Медичи, 1515).

[51] Монах-доминиканец, любимый шут мантуанской маркизы Изабеллы, который, часто навещая Урбино, иногда оставался здесь надолго.

давайте пусть каждый выскажет свое мнение о том, почему почти все женщины ненавидят мышей и любят змей; и увидите, что никто не отгадает, кроме меня; а я узнал этот секрет необычным способом.

И он принялся было за свои россказни, но синьора Эмилия велела ему молчать и, минуя даму, сидевшую рядом, подала знак Унико Аретино, следующему по очереди. Тот, не заставляя себя просить дважды, сказал:

– Мне хотелось бы быть судьей, имеющим власть любыми пытками выведывать правду у злодеев, чтобы открыть обманы одной неблагодарной, у которой глаза ангела и сердце змеи, а язык никогда не бывает в согласии с душой, которая, выказывая притворное и ложное сострадание, ни о чем другом не помышляет, как только анатомировать сердца{52}. Даже в песчаной Ливии нет ядовитой змеи, настолько охочей до людской крови, как эта обманщица; ведь она не только нежным голосом и медоточивыми словами, но и глазами, улыбками, чертами лица и всеми повадками – истинная Сирена. Так вот, поскольку мне не дозволено, как хотелось

{52} Объектом этой речи является герцогиня Элизабетта, страстную влюбленность в которую Аккольти усердно изображает. Выражения, которые могут показаться недопустимо вольными, на самом деле вполне укладываются в канон любовной лирики «сладостного нового стиля», прекрасно знакомой всем присутствующим. Аккольти отчасти заимствует свои обличения и хулы у Петрарки, рассчитывая на то, что их источник известен и самой герцогине, и окружающим. «Душа медведицы, тигрицы, кроткий зверь / В подобье ангела, но с видом человека, / Меж страха и надежд, меж слез и смеха / Играет мною…» – говорит поэт о Лауре, своей «милой врагине» (Канцоньере. CLII; пер. мой – П. Е.).

бы, применять цепи, дыбу или огонь, чтобы узнать правду, я желаю узнать ее с помощью следующей игры: пусть каждый скажет, что, по его мнению, означает буква S, которую носит на челе синьора герцогиня. Ибо, хотя, конечно, и это – искусная завеса, вводящая в заблуждение, может случиться, что ей будет дано какое-то истолкование, синьорой герцогиней не предусмотренное, и тогда окажется, что фортуна, сострадательная зрительница человеческих мучений, посредством этого маленького знака вынудила ее помимо воли открыть свое сокровенное желание – убивать и хоронить заживо в муках того, кто ею любуется или служит ей.

Синьора герцогиня улыбнулась, и Унико, видя, что она хочет оправдаться в том, в чем ее обвинили, остановил ее:

– Нет, государыня, молчите! Сейчас не ваша очередь говорить!

Тогда синьора Эмилия, повернувшись к нему, сказала:

– Синьор Унико, среди нас нет человека, который не уступал бы вам в любом деле, а тем более в знании души синьоры герцогини. И так как вы больше других, по причине вашего божественного ума, знаете эту душу, то и любите ее больше, чем другие, те, которые, подобно птицам со слабым зрением, не осмеливающимся направлять глаза на солнечный круг, не могут знать, как она совершенна. Поэтому была бы тщетной всякая попытка прояснить этот вопрос помимо вашего суждения. Пусть же этот подвиг достанется вам; только вы в силах совершить его.

Унико, выдержав некоторую паузу, лишь после повторной просьбы наконец прочел сонет на вышесказанную тему, открывая, что означает эта буква S{53}. Многие сочли его импровизацией, но, поскольку он был более искусным и изысканным, чем, кажется, могла позволить краткость времени, думалось все же, что Унико обдумал его заранее.

X

После радостных рукоплесканий в знак похвалы сонету и недолгого разговора синьор Оттавиано Фрегозо, до которого дошла очередь, с улыбкой начал:

– Господа, если бы я стал утверждать, что никогда не знал любовной страсти, то, конечно, синьора герцогиня и синьо-

{53} Приводим в подстрочном переводе текст сонета по изданию: Opere volgari e latine del conte Baldessar Castiglione, novellamente raccolte, ordinate, ricorrette, ed illustrate / Ed. Giorgio Antonio Volpe e Gaetano Volpi. Padova: Comino, 1733. P. 99. В оригинале он полностью составлен из слов, начинающихся на букву S. «Соизволь, о море красоты и добродетели, / Мне, твоему слуге, избавиться от великого недоумения: / Означает ли S, которое ты носишь на белоснежном челе, / Мое лишение – или мое здоровье, / Являет ли оно помощь – или рабство, / Подозрение – или уверенность, / Тайну – или безрассудство, / Надежду – или вопль, спасен я – или погребен! / Раскованы ли мои суровые цепи? / Ибо страшусь, не показываешь ли ты знак / Гордости, моих воздыханий, суровости, / Терзания, крови, пота, муки и презрения. / Но если дать место чистой правде, / Это S изображает, с немалой изобретательностью, / Другое солнце, беспримерное как по красоте, так и по бессердечию». На известном портрете Элизабетты Гонзага кисти Рафаэля, почти современном описываемым событиям, чело герцогини вместо этой подвески украшено изображением скорпиона.

ра Эмилия, даже и не поверив, сделали бы вид, что верят, и сказали бы, что этому причиной мое неверие в то, что я способен влюбить в себя женщину. Я и в самом деле до сих пор не выяснял со всей возможной настойчивостью, поистине ли должен отчаяться когда-либо добиться любви. Не делал я этого не потому, что настолько высоко ценил себя и настолько низко – женщин, что не видел, как достойны любви и поклонения многие из них: меня скорее ужасали непрестанные сетования иных влюбленных – бледных, печальных, молчаливых; неутоленность их чувства будто написана у них в глазах, а если уж они заговорят, то на каждое слово издают по три вздоха и ни о чем другом не могут беседовать, кроме как о слезах, мучениях, отчаянии и желании смерти. И если порой некая любовная искра все же загорается у меня в сердце, я тут же стараюсь любыми ухищрениями ее погасить, – не из ненависти, которую я будто бы питаю к женщинам, как они думают, но чтобы остаться целым. Знавал я и иных, по всему противоположных этим скорбящим. Эти не только хвалятся и любуются приятной наружностью, милыми речами и нежным личиком своей женщины, но и любые беды приправляют сладостью, так что даже распри, гнев, презрение называют сладостными. И такие влюбленные мне представляются намного более чем счастливыми. И если они находят такую сладость в любовных раздорах, которые тем, другим, кажутся горше смерти, я думаю, что в проявлениях любовной взаимности они должны чувствовать то высшее блаженство, ко-

торого напрасно искать в этом мире. Так вот, предлагаю на сегодняшний вечер следующую игру. Пусть каждый скажет: если ему придется рассориться с любимой женщиной, какую бы он предпочел причину для ссоры? Ибо, если некоторые из присутствующих вкусили таких сладостных ссор, я уверен, что они с удовольствием пожелают выбрать одну из причин, делающих их столь сладостными. Тогда и я, пожалуй, уверюсь в том, что смогу сделать шаг вперед в любви, тоже надеясь обрести сладость там, где иные находят горечь, и эти дамы уже не смогут бранить меня за то, что я не люблю.

XI

Эта игра очень понравилась, и каждый уже готовился высказаться по предложенному предмету, но, поскольку синьора Эмилия, чья подошла очередь, не произнесла своего слова, мессер Пьетро Бембо, следующий по порядку, сказал:

– Господа! Немалое сомнение возбудила в душе моей игра, которую предложил синьор Оттавиано, рассуждавший о раздорах в любви. Ибо хоть они и разнообразны, но для меня всегда бывали очень горьки; не думаю, что смог бы изыскать приправу, способную их подсластить, – хотя, возможно, они могут быть более или менее горькими, в зависимости от причины, их породившей. Ибо я вспоминаю, как некогда увидел ту женщину, которой служил, рассерженной то ли из-за пустого сомнения в моей верности, то ли из-за какой-то другой

ложной мысли, родившейся в ней от чужих слов, направленных против меня. Я думал тогда, что ни одна мука не может сравниться с моей, а самой большой скорбью было для меня то, что терплю я незаслуженно и страдаю не по своей вине, но из-за недостатка ее любви ко мне.

Иногда же я видел ее разгневанной на какие-то мои проступки и знал, что гнев ее рожден моей оплошностью; и тогда считал, что прошлая боль была гораздо легче в сравнении с той, что я испытываю теперь. И казалось, что по собственной вине впасть в немилость у особы, которой одной только я желаю и которой с таким усердием стараюсь угодить, – вот величайшая мука, превосходящая все другие. Итак, предлагаю такую игру: пусть каждый скажет, если уж суждено ему испытать гнев любимой особы, какую причину этого гнева он предпочел бы – коренящуюся в ней или же в нем самом. Так мы выясним, что́ больнее – доставлять неприятности тому, кого мы любим, или самим получать их от предмета любви?

XII

Все ждали ответа синьоры Эмилии; она же, не сказав Бембо ни слова, повернулась к мессеру Федерико Фрегозо, подавая ему знак предложить свою игру, и он тотчас начал:

– Синьора, хорошо, если бы мне позволили, как бывает порой, присоединиться к суждению других; ибо я, со своей стороны, охотно одобрил бы какую-то из игр, предложенных

этими синьорами: ведь все они и вправду кажутся занятными. Но все же, дабы не нарушать порядок, скажу, что если кто-нибудь пожелал бы выразить похвалу нашему двору, то – даже оставляя в стороне заслуги синьоры герцогини, которой одной, с ее божественной добродетелью, было бы достаточно, чтобы возвысить от земли до небес самые низменные души на свете, – он может, без риска быть заподозренным в лести, сказать, что по всей Италии с трудом найдется столько рыцарей редкостных, превосходных в самых разнообразных вещах, а не только в главном призвании рыцарства, сколько сейчас собрано здесь. Так что, если где и есть люди, достойные именоваться хорошими придворными и способные судить о совершенстве придворного служения, разумно считать, что эти люди находятся здесь. Итак, с целью усмирить многих глупцов, которые по самонадеянности и никчемности льстят себя надеждой стяжать имя хорошего придворного, я предложил бы на сегодняшний вечер вот какую игру: выбрать из нашего общества одного, кому будет поручено изобразить словами совершенного придворного, описав все условия и особенные качества, которые требуются от человека, достойного этого названия. А по поводу тех вещей, которые покажутся несообразными с этим именем, пусть каждому будет дано право возражать, как это позволено ведущим диспуты в философских школах.

Мессер Федерико хотел продолжать свое рассуждение, но синьора Эмилия прервала его словами:

– Вот это и будет нынче нашей игрой, если угодно синьоре герцогине.

– Мне это по душе, – ответила синьора герцогиня. Тогда почти все присутствующие стали говорить, как обращаясь к синьоре герцогине, так и между собой, что вот она – самая прекрасная игра, которой только можно заняться; и наперебой стали просить синьору Эмилию назначить того, кто эту игру начнет. И она, повернувшись к синьоре герцогине, сказала:

– Укажите, государыня, кому вам угодно поручить это. Ибо я не хочу, предпочтя одного другому, выказать суждение, кого я считаю для этого дела подходящим более остальных, и таким образом задеть кого-то другого.

Синьора герцогиня ответила:

– Нет, все же сделайте этот выбор вы; и смотрите, не подавайте другим пример непослушания, иначе они будут еще менее послушны.

XIII

Тогда синьора Эмилия с улыбкой обратилась к графу Лудовико да Каносса:

– Стало быть, не теряя более времени, вы, граф, сейчас возьметесь за дело так, как предложил мессер Федерико. Не потому, что нам кажется, будто вы настолько хороший придворный, чтобы знать все подобающее ему, но потому, что,

если станете говорить всем наперекор – как мы на то надеемся, – игра пойдет живее, ибо у каждого найдется что вам ответить. А если начнет кто другой, сведущий больше вас, он выскажет истину, все с ним согласятся, и игра заглохнет.

Граф живо парировал:

– Синьора, какую бы кто ни высказал истину, ему не грозит опасность остаться без возражений, когда вы рядом.

Ответ вызвал общий смех, а граф продолжал:

– Однако и вправду, синьора, я охотно уклонился бы от этого дела, ибо оно кажется мне слишком трудным, и я считаю совершенно верным то, что вы сказали обо мне в шутку: да, я не знаю, что именно подобает хорошему придворному, и других доказательств тому не нужно, поскольку чего делом не делаешь, того, надо полагать, и не знаешь. Но, думаю, не стоит меня за это особенно сильно корить, ибо, без сомнения, не желать делать что-то хорошо – хуже, чем не уметь. Однако, если вам все же угодно возложить эту задачу на меня, я не могу и не хочу отказываться, чтобы не пойти наперекор порядку и вашему суждению, которое ценю гораздо больше, чем мое собственное.

– Добрая часть ночи уже миновала, и к тому же приготовлено много других разнообразных удовольствий, – напомнил мессер Чезаре Гонзага. – Может быть, правильным будет отложить этот разговор до завтра и дать графу время обдумать то, что он хотел бы сказать: ведь и правда, говорить о таком предмете без подготовки – дело трудное.

– Я не хочу быть как тот, кто, раздевшись до жилета, прыгает хуже, чем прыгал в рясе, – отвечал граф. – И кажется весьма удачным, что час поздний, ибо по краткости времени мне придется говорить немного, а то, что я не продумывал все заранее, послужит мне извинением, не навлекая упреков, говорить все, что первым придет на язык.

Итак, чтобы не держать долее это бремя на плечах, скажу, что во всяком деле трудно, почти до невозможности, узнать, в чем состоит истинное совершенство; и причиной тому разнообразие суждений. Ибо многим будет приятен разговорчивый человек, и они его назовут забавным; иным больше понравится скромность; другим приятен человек деятельный и подвижный; еще другим – тот, кто во всем выказывает неспешность и осмотрительность. И так каждый хвалит или хулит по своей прихоти, прикрывая порок именем ближайшей к нему добродетели или добродетель – именем ближайшего к нему порока: самонадеянного называют раскованным, сдержанного – сухарем, недалекого – добряком, негодяя – предприимчивым и так далее. Но все же полагаю, что в каждой вещи есть свое совершенство, хотя бы сокрытое, и тот, кто имеет понятие об этой вещи, вправе высказать в обстоятельной беседе суждение о нем. И поскольку, как я сказал, истина часто пребывает потаенной, а я не могу похвастаться точностью познания в этом деле, то могу хвалить лишь тот род придворных, который выше ценю сам, одобряя то, что представляется более сходным с истиной моему

скромному мнению, с которым вы можете согласиться, если оно вам покажется добрым, – или остаться при вашем мнении, если оно будет отличным от моего. И я не собираюсь доказывать, что мое лучше вашего; ибо не только вам может нравиться одно, а мне другое, но и мне самому может нравиться иногда одно, а иногда – другое.

XIV

Итак, я хочу, чтобы этот наш придворный был по рождению рыцарем и чтобы род его имел добрую славу. Ибо нерадение о делах доблести гораздо меньше пятнает человека неблагородного, чем благородного, который уклоняется от пути предков, порочит родовое имя, не только не приобретая ему славу, но теряя приобретенную до него. Благородное происхождение – как яркий светильник, который освещает и делает видными добрые и дурные дела, воспламеняя и побуждая к доблести как боязнью бесчестия, так и надеждой на похвалу. Поскольку этот свет благородства не высвечивает дела людей низкого происхождения, у них нет ни этого побуждения, ни боязни бесславия; они не видят себя обязанными превзойти то, что совершили их предки, – тогда как для благородных кажется зазорным не достичь хотя бы черты, показанной им старшими поколениями. Отчего почти всегда на войне и в других доблестных делах наиболее отличаются люди благородного звания, – ибо природа во всякой

вещи имеет сокрытое семя, которое сообщает некую силу и свойства своего первоначала всему из него происходящему и уподобляет его себе. Что мы и видим обычно не только в породах лошадей и других животных, но и в деревьях, чьи саженцы почти всегда подобны дереву, от которого взяты, а если когда и вырождаются, виной тому плохой садовник. Так и с людьми: если они получили доброе воспитание, то почти всегда похожи на тех, от кого происходят, и зачастую еще и лучше их; если же не имели того, кто их обихаживал, вырастают как дички и вовсе не плодоносят.

Впрочем, или от благоприятного расположения звезд, или от природы некоторые рождаются наделенными такими дарованиями, что подумаешь, будто они и не родились, а некий бог собственными руками вылепил их и украсил всеми благами души и тела; и при этом видишь множество столь бестолковых и тупых, что впору поверить, будто природа произвела их то ли назло миру, то ли в насмешку над ним. И как эти последние, даже после упорных стараний воспитателей и при хорошем образовании, чаще всего приносят скудный плод, так те первые малым трудом достигают крайних высот совершенства.

Вот, например, синьор дон Ипполито д'Эсте, кардинал Феррарский: он от рождения одарен таким счастьем, что его стать, облик, слова, каждое его движение – все это собрано и сочетается в нем с величайшим изяществом. И пусть он молод, но и среди самых старых кардиналов являет такую сте-

пенную величавость, что кажется, будто ему самому скорее впору поучать их, нежели поучаться[54]. Подобным образом в его общении с мужчинами и женщинами любого звания, в играх, в манере улыбаться и шутить, в остроумных забавах есть какая-то приятность, и манеры его столь привлекательны, что поневоле всякий, кто с ним беседует или хотя бы просто видит его, навсегда его полюбит.

Однако, возвращаясь к нашей теме, скажу, что между такой превосходной одаренностью и непробиваемой глупостью имеется и нечто среднее; и те, кто от природы не столь совершенно одарен, могут усердием и трудами сгладить и выправить бóльшую часть природных недостатков. Так вот, пусть придворный, кроме благородного происхождения, будет одарен и по этой части, имея от природы не только ум,

[54] Ипполито д'Эсте (1479–1520) – пятый сын феррарского герцога Эрколе д'Эсте. Тогда как наследником герцогства был старший, Альфонсо, Ипполито от рождения был предназначен отцом к церковной карьере. В шесть лет получил сан аббата; в восемь по ходатайству своей тетки Беатриче, супруги венгерского короля Матвея Корвина, стал архиепископом Эстергомским и примасом Венгрии. Будучи кардиналом с 1493 г., он получил от Александра VI кафедры Милана, Феррары, Модены и Капуи и большое количество аббатств. При Юлии II, напротив, Феррарское герцогство вело войны со Святым престолом, и Ипполито лично принимал участие в командовании войсками. В 1519 г., уступив миланскую кафедру брату, вскоре умер. Отличался деспотизмом, крайним своеволием и жестокостью. Примерно за год до этой беседы, когда Анджела Борджиа (племянница папы Александра VI), близости с которой добивался Ипполито, сказала ему, что ей больше нравится его брат Джулио, кардинал Ипполито с толпой слуг напал на Джулио, изувечил его, выколов глаз, и едва не убил. Кастильоне в течение нескольких лет был связан перед кардиналом Ипполито большим денежным долгом, чем, вероятно, и объясняется это восхваление, сильно отдающее лестью.

красивые стать и лицо, но и некое изящество{55}, и то, что называется породой, что с первого взгляда делало бы его приятным и любезным всякому. И пусть это будет украшени-

{55} В оригинале стоит слово «gratia», имеющее широкий диапазон значений: от того, что сегодня мы называем «грацией», «грациозностью» до «милости» и даже до «благодати» в специальном христианском теологическом значении. Это слово – один из «главных» терминов этической и эстетической мысли итальянского Возрождения. У разных авторов и в разных контекстах его смысловые поля подчас не совпадают, что составляет отдельную тему для исследователей – историков и филологов. В научных изданиях это слово, очень важное, как увидим в дальнейшем, и для нашего автора, часто оставляется без перевода и передается как «грация». Так поступают и проф. О. Ф. Кудрявцев, выполнивший перевод 1-й книги «Придворного» на русский язык (впервые опубл. в кн.: Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха Возрождения: быт, нравы, идеалы. М.: Юристъ, 1996), и Л. М. Баткин, посвятивший Кастильоне большую главу в своем труде «Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления» (Избранные труды: В 6 т. Т. 2. М.: Новый хронограф, 2015. С. 194–202), и Л. М. Брагина в своей монографии «Итальянский гуманизм эпохи Возрождения» (М.: Изд-во МГУ, 2002. С. 302 и сл.), и др. В настоящем издании, рассчитанном на широкий круг читателей, представляется уместным дать перевод слова «gratia», наиболее сообразный, по нашему мнению, теме и задаче сочинения Кастильоне. Человек конкретно-практических задач, писавший не для кабинетных мыслителей, а для людей дела, он, конечно, подразумевает под этим словом то, что может быть недвусмысленно понято и достигнуто на деле. Нам представляется вероятным, что Кастильоне в понимании грации был близок к Леону Еврею (1463–1520), философу, переселившемуся из Португалии в Италию и писавшему на вольгаре; Кастильоне с интересом читал «Диалоги о любви», главное произведение Леона, и даже выписал их в Испанию во время своего пребывания там. Ср. у Леона: «Красота – это грация, которая радует душу, узнающую ее, и побуждает к любви; хорошая вещь или человек, в которых заключена эта грация, прекрасны; но хорошее, не обладающее грацией, не прекрасно» (пер. А. Хоментовской). Т. е. грация в поведении есть именно то, что вызывает симпатию к человеку и его действиям.

ем, приводящим в согласие и сопровождающим все его действия, и явной печатью того, что этот человек достоин общества и милости любого великого государя.

XV

Тогда, не дожидаясь, когда ему дадут слово, в беседу вступил синьор Гаспаро Паллавичино:

– Дабы наша игра шла в должном порядке и не казалось, будто мы мало ценим данное нам право возражать, скажу, что мне в придворном не представляется таким уж обязательным благородство происхождения. Если бы я думал, что говорю новое для кого-то из присутствующих, то привел бы в пример многих рожденных от благороднейшего корня и при этом полных пороков и, напротив, многих худородных, которые доблестью прославили свое потомство. И будь правдой то, о чем вы давеча говорили, что в каждой вещи есть скрытая сила первого семени, тогда мы все находились бы в равном положении, ибо все имеем общее начало {56}, и ни один не мог бы быть благороднее другого. Думаю, различия между нами, как и степени высокого и низменного, обусловлены множеством других причин, главной из которых я считаю фортуну. Ибо мы видим, что она правит всеми делами этого мира и, словно в забаву, часто возносит до небес то-

{56} Т. е. общих прародителей Адама и Еву.

го, кто ей приглянется, без каких-либо заслуг и погребает в бездне самых достойных возвышения. Да, я согласен с тем, что вы говорите о счастье тех, которые от рождения одарены благами души и тела; но это мы видим как в благородных, так и в худородных, ибо природа не делает столь тонких различений; напротив, как я говорил, часто в людях самого низкого звания можно видеть самые высокие природные дары.

Итак, коль скоро это благородство не приобретается ни умом, ни силой, ни искусством, будучи более славой наших предков, чем нашей собственной, мне представляется весьма странным думать, что если родители нашего придворного были худородны, то все его добрые качества имеют изъян, а других названных вами условий – ума, красоты лица, стати и изящества, с первого взгляда располагающего к нему всякого, – будто всего этого недостаточно, чтобы возвести его на высоту совершенства.

XVI

Граф Лудовико ответил:

– Я не говорю, что в людях низкого рода не могут проявляться те же добродетели, что и в благородных; но не хочу и повторять уже сказанного, вместе со многими другими доводами в пользу благородства, которое чтится всегда и всеми. Ибо это согласно с разумом: от добрых рождаются добрые. Поскольку наша задача – вылепить придворного, не

имеющего ни единого изъяна, но соединяющего в себе всевозможные похвальные свойства, мне представляется необходимым сделать его благородным, не только по множеству разных причин, но и повинуясь всеобщему мнению, которое первым делом смотрит на благородство происхождения.

Возьмем двух придворных, которые еще не успели проявить себя ни в хорошем, ни в дурном; как только услышат, что один родился от благородных, а другой нет, любой оценит худородного гораздо ниже, чем благородного, и худородному понадобится много времени и трудов, чтобы запечатлеть в людских умах доброе мнение о себе, в то время как другой приобретет его сразу – только потому, что он из благородных. А сколь важную силу имеет эта печать, легко понять всякому: ибо, возвращаясь к нам самим, напомню, что и нам с вами случалось видеть в этих стенах людей, которые, будучи чрезвычайно глупы и грубы, однако, славились по всей Италии как величайшие придворные; и пусть в конце концов их раскрыли и узнали, все же многих из нас они ввели в заблуждение, удерживая в наших душах то мнение о себе, которое в самом начале мы нашли как бы оттиснутым на них, хотя поступки их были сообразны их ничтожеству. Видели мы и других, которых сначала никто не ценил, а они в конце концов достигли весьма многого. Эти ошибки имеют различные причины; среди прочих – упрямство государей, которые, желая творить чудеса, пускаются подчас осыпать милостями такого, кто, по их же собственному мнению, этих

милостей вовсе не заслуживает. Конечно, часто они обманываются и сами; но поскольку всегда находится безмерное множество желающих им подражать, из их милостей к кому-либо происходит весьма громкая слава, за которой чаще всего и следуют люди в своих суждениях. А если обнаруживают что-нибудь, что выглядит несогласным с общим мнением, то подозревают, что обманулись, и всегда ждут чего-то потаенного; ибо им кажется, что эти общие мнения должны же быть основаны на истине, иметь действительные причины.

К тому же наши души очень податливы на любовь и ненависть. Это можно видеть на зрелищах с боями и играми и при всякого рода состязаниях, когда зрители, часто без видимой причины, выражают пристрастие к одной из сторон, чрезвычайно желая, чтобы она победила, а другая проиграла. Вот и в том, что касается мнения о качествах человека, добрая или дурная молва с самого начала толкает нашу душу к одному из этих двух пристрастий. Отчего и происходит то, что в большинстве случаев мы судим с любовью или с неприязнью. Итак, видите, сколь важно это первое впечатление и как с самого начала должен стараться приобрести добрую славу тот, кто считает себя достойным положения и имени настоящего придворного.

XVII

Переходя к частностям, я считаю, что главным и настоящим делом придворного должно быть военное, и стою за то, чтобы он проявлял в нем горячее рвение и был известен как человек отважный, мужественный и верный тому, кому служит. А эти славные наименования он приобретет, в любое время и в любом месте доказывая их делом. И нельзя ими пренебрегать, не заслужив крайнего порицания: ведь как у женщины девственность, однажды нарушенная, уже не может быть восстановлена, так и слава дворянина, носящего оружие, будучи хоть единожды, хоть в мельчайшем деле трусостью или чем-либо другим недостойным, в глазах света навсегда померкнет и покроется позором. Словом, чем более выдающимся будет наш придворный в этом искусстве, тем более будет достоин похвал.

Впрочем, я не считаю необходимым для него совершенное знание военных материй и другие свойства, подобающие полководцу, – этого было бы уже слишком много. Хватит с него, как я сказал выше, непоколебимой верности, стойкости духа и того, чтобы таким мы видели его неизменно. Ведь зачастую в делах малых мужественные узнаются лучше, нежели в больших. Есть такие, у которых при больших опасностях, при многих свидетелях, хоть сердце и уходит в пятки, но, подстегиваемые то ли боязнью осрамиться, то ли при-

мером товарищей, они бросаются вперед, зажмурив глаза, и Бог знает как, но исполняют свой долг. Зато в случаях когда никто не толкает в спину и кажется, что можно незаметно уклониться от опасности, они охотно позволяют себе схорониться в укрытии. Не эти, но другие, которые, даже думая, что никто за ними не наблюдает, никто их не видит, никто не знает, тем не менее выказывают отвагу, не упуская ни малейшей вещи по части своих обязанностей, – вот кто обладает той доблестью души, которую мы ищем в нашем придворном.

Мы не желаем, однако, чтобы он, выставляя себя завзятым воякой, сыпал направо и налево похвальбами вроде: «Моя жена – кираса!», чтобы метал во все стороны угрожающие и дикие взгляды, какие мы часто видели в комических представлениях Берто{57}. Ибо такие вполне заслуживают слов, которые одна неробкая женщина в благородном собрании с улыбкой сказала рыцарю, чье имя я сейчас называть не стану. Тот, когда она, оказав честь, пригласила его на танец, отказался – так же как и слушать музыку, и как-то по-другому развлечься, каждый раз повторяя, что этакие пустяки «не его ремесло». Когда наконец дама спросила: «Да что же у вас за ремесло?» – он со зверским лицом рыкнул: «Война!»

Дама тут же отпарировала:

{57} Берто – речь, очевидно, идет о комическом актере. В документах первой половины XVI в. имеются упоминания о Берто делла Бьява, известном в то время венецианском комике. Он ли имеется в виду, сказать трудно.

– Ну поскольку нынче вы, кажется, не на войне и сражаться не собираетесь, надо бы вас хорошенько смазать салом и вместе с вашими доспехами убрать в чулан до тех пор, пока не понадобитесь, а иначе заржавеете еще больше, чем теперь{58}.

И так, под смех окружающих, оставила его посрамленным с его глупым самомнением. Пусть же будет тот, кого мы стараемся изобразить, при виде неприятеля отважен, суров и всегда среди первых; но в любых других обстоятельствах – человечен, скромен и сдержан, избегая прежде всего чванства и безрассудного хвастовства, ибо хвастун всегда вызывает неприязнь и отвращение у того, кто его слушает.

{58} В комментариях к «Придворному», начиная с изданий XVI в. и вплоть до нашего времени, повторяется предположение, что диалог имел место между графиней Катериной Сфорца и Гаспаре Сансеверино – двумя историческими персонажами, каждый из которых остался в памяти потомков своего рода образцом: Катерина – женской отваги, а Гаспаре – солдафонской грубости и жестокости (его прозвищем было Capitan Fracassa – Капитан Разруха). Это, скорее всего, неправда: отношения между графиней и неаполитанским кондотьером не ограничились одной встречей, а имели длительную историю; в частности, Гаспаре сражался на ее стороне против венецианцев и французов. В 1499 г. Катерина, вдова, мать восьми детей, младшему из которых исполнился год, возглавила оборону города Форли от превосходящих войск Чезаре Борджиа, сражалась с мечом в руках и была пленена, лишь получив серьезную рану и потеряв способность сопротивляться.

XVIII

– А я, – отозвался синьор Гаспаро, – мало знаю людей, в чем-либо выдающихся, которые не хвалили бы себя самих; и мне кажется, что им вполне позволительно вести себя так. Когда человек, знающий себе цену, видит невежд, не имеющих понятия, каков он в деле, то, конечно, негодует, что его доблесть как бы похоронена, и вынужден каким-то образом открывать ее, чтобы никто не похитил у него чести, которая и есть истинная награда за подвиги. Почему и среди древних писателей те, кто имел заслуги, редко удерживались, чтобы самим не похвалить себя. Невыносимы лишь те, которые хвалятся, вовсе не имея заслуг; но наш придворный, как мы предполагаем, не будет одним из таких.

– Если вы меня хорошо услышали, – сказал граф, – я порицал бесстыдное и безудержное хвастовство; и конечно, как вы и говорите, не следует плохо думать о доблестном человеке, который умеренно хвалит себя: такое свидетельство даже надежнее, чем похвала, исходящая из чужих уст. Более того: кто, хваля себя, не впадает в ошибку и не вызывает раздражения и зависти у слушающих, тот в высшей степени благоразумен и, кроме тех похвал, что дает самому себе, заслуживает их также от других, а это ведь весьма нелегкое дело.

Тогда синьор Гаспаро сказал:

– Вот этому вы нас и научи́те.

– Есть достаточно древних писателей, которые этому учат, – ответил граф. – Но, мне представляется, все дело в умении говорить об этом так, чтобы не казалось, что хвастаешь, но настолько к месту, что невозможно не сказать, – и, неизменно выказывая стремление избегать похвал себе самому, все же произносить их. Не так, как те хвастуны, что лишь откроют рот – и давай нести что попало: как несколько дней назад один наш приятель рассказывал, что в Пизе, когда копье вошло ему в бедро с одной стороны и вышло с другой, он подумал, будто его укусила муха{59}; а другой сказал, что не держит зеркала в комнате, ибо, когда сердится, становится так ужасен лицом, что сам себя боится.

Тут все рассмеялись, но мессер Чезаре Гонзага возразил:

– Над чем вы смеетесь? Неужели не читали, как Александр Великий, услышав мнение одного философа, что существует бесконечное множество миров, заплакал; а когда его спросили, почему он плачет, ответил: «Потому что я еще не завоевал и одного»{60}, – как будто ему хватало решимости завоевать их все? Вам это не кажется еще большей похвальбой, чем сказанное об укусе мухи?

– Александр был более велик, чем болтавший о мухе, – отвечал граф. – Но людям выдающимся поистине проститель-

{59} Вероятно, имеется в виду недавняя осада Пизы войсками Флорентийской республики (июль – сентябрь 1505).

{60} Изречение приводит римский писатель I в. н. э. Валерий Максим (Достопамятные деяния и изречения, VIII, 14). Философ, о котором идет речь, – Демокрит из Абдеры (ок. 460 – ок. 370 г. до н. э.).

но, когда они мнят о себе высоко. Ибо кому предстоят великие дела, тому нужны и дерзновение осуществить их, и вера в себя; и не малодушным ему следует быть, но весьма сдержанным в речах, делая вид, будто он мнит о себе меньше, чем на самом деле, чтобы вера в себя не обернулась опрометчивостью.

XIX

Тогда, поскольку граф ненадолго прервал свою речь, мессер Бернардо Биббиена, улыбаясь, сказал:

– Как помнится, прежде вы говорили, что этот наш придворный должен быть от природы наделен красивым лицом и осанкой, вместе с изяществом, которое сделает его столь привлекательным. Что касается изящества и прекрасного лица, я уверен, что ими обладаю, почему, как вы знаете, очень часто женщины возгораются ко мне любовью. Однако относительно фигуры я испытываю некоторые сомнения – прежде всего относительно моих ног, которые, сказать правду, кажутся мне не такими стройными, как хотелось бы; телом же и всем прочим я вполне доволен. Разъясните же поподробнее о форме тела, какой она должна быть, чтобы я избавился от сомнений на сей счет и жил со спокойной душой.

За этими словами последовал смех, а граф продолжил:

– Конечно, в вас есть изящество облика, – это можно утверждать без лести, и не нужно никакого другого примера,

чтобы показать, в чем оно заключается. Мы видим и не имеем сомнения, что ваше лицо чрезвычайно приятно и всем нравится, пусть даже черты его не очень тонки; в нем есть мужество, и при этом оно изящно – качество, которое можно обнаружить в лицах самого разного строения. И я хочу, чтобы таким был и облик нашего придворного, – а не таким изнеженным и женственным, какой стараются иметь многие молодые люди, не только завивая волосы и выщипывая брови, но и приглаживая себе кожу всеми теми способами, что в ходу у самых бесстыдных и бесчестных женщин этого мира. Двигаясь ли, стоя на месте, делая что-либо другое, они выглядят столь хрупкими и изнемогающе томными, будто члены тела у них готовы отвалиться, а речь ведут так страдальчески, будто вот-вот испустят дух; и чем с более сановитыми людьми обращаются, тем больше прибегают к подобным приемам. Пусть вид их выдает желание казаться и быть женщинами, но поскольку природа не создала их таковыми, то рассматривать их надо не как почтенных женщин, но как продажных блудниц, прогоняя не только от дворов государей, но и из общества благородных мужчин.

XX

Итак, рассматривая качества фигуры, скажу: достаточно, чтобы тело не было ни чрезмерно огромным, ни вовсе малорослым, поскольку и то и другое вызывает презрительное

удивление, и людей такого сорта разглядывают как что-то почти уродливое. Но если уж выбирать из этих крайностей, то лучше пусть придворный будет несколько малорослым, нежели намного переросшим разумную меру. Ибо люди со столь огромным телом не только весьма часто тупоумны, но еще и не годятся ни на какое дело, требующее ловкости, а это качество я считаю для придворного очень желательным. Поэтому я хотел бы, чтобы он имел хорошо сложенное тело и пропорционально развитые члены и выказывал силу, легкость и проворство, освоив все телесные упражнения, надлежащие воину. А из них полагаю первым владение любым оружием для пешего и конного боя, включая все приемы обращения с ним, особенно с тем, что обыкновенно употребляется между благородными. Ведь, помимо его применения на войне, где, может быть, и не необходимы особенные тонкости, нередко случаются и между благородными ссоры, побуждающие взяться за оружие, причем подчас за то, что оказалось под рукой: поэтому знать его – надежнейшее дело. Я не из тех, кто говорит, будто в момент нужды вся выучка забывается; ибо, вне сомнения, тот, кто теряет в такое время выучку, показывает, что еще раньше от страха потерял мужество и самообладание.

XXI

Еще полагаю, что очень кстати ему умение драться, ибо

это сопровождает любую пешую схватку. Затем нужно, чтобы он и сам, и через друзей узнавал, какие могут возникнуть споры и ссоры, и, будучи подготовлен заранее, при каждом таком случае выказывал совершенное присутствие духа и осмотрительность. Но пусть и не ввязывается в такие схватки, иначе как если этого требует защита чести; ибо, кроме великой опасности, которую несет переменчивая удача, тот, кто опрометчиво, без крайней необходимости бросается в них, заслуживает величайшего порицания, даже если ему повезет. Но если мужчина видит, что дело зашло так далеко, что без урона для чести отступить не удается, он должен и в том, что предшествует бою, и в бою быть решительным, неизменно выказывая готовность и мужество. Не то что иные, которые тянут дело, обсуждая условия и пункты, выбирают из оружия то, что не рубит и не колет, а перед схваткой нагромождают на себя броню так, словно ожидают обстрела из пушек; и поскольку для них довольно лишь не быть побежденными, только и делают, что защищаются и отступают, изобличая свое крайнее малодушие. Отчего они бывают посмешищем даже для мальчишек, как те два анконца, что недавно бились в Перудже, насмешив всех, кто их видел.

– Кто ж это были такие? – спросил синьор Гаспаро Паллавичино.

– Какие-то двоюродные братья, – ответил мессер Чезаре.

– Когда они бились, казалось, что они родные братья{61}, –

{61} В том смысле, что оба в поединке выказали одинаковое малодушие, сра-

вставил граф и продолжил: – Часто применяется оружие и в мирное время, во всяких упражнениях; мы видим рыцарей на публичных зрелищах, состязающихся перед множеством народа, дамами и самими государями. И я хочу, чтобы наш придворный был совершенным наездником и прекрасно держался в любом седле. И среди прочих своих умений не только знал толк в лошадях и в верховой езде, но и прилагал все рвение и усердие к тому, чтобы в любом деле быть несколько впереди других, так чтобы все считали его лучшим между собой. И как мы читаем об Алкивиаде, что он превосходил всех во всяком народе, среди которого жил, в том искусстве, которое было этому народу свойственно {62},

---

жаясь лишь напоказ.

{62} Алкивиад (450–404 гг. до н. э.) – афинский политический деятель и полководец периода Пелопоннесской войны, сочетавший в себе большой военный и ораторский талант с крайним честолюбием, роскошеством и распутством. Античные биографы связывали отмеченную черту личности Алкивиада с его желанием первенства во всем и повсюду. «Родившись в… Афинах, он был первым среди граждан по благородству и блеску своего обихода; когда же, изгнанный оттуда, явился в Фивы, то настолько приспособился к местным обычаям, что никто не мог сравниться с ним в трудолюбии и телесных упражнениях, – ведь беотийцы отличаются скорее телесной силой, чем остротой ума; у лакедемонян, издавна усматривающих высшую доблесть в воздержании, он вел сугубо строгий образ жизни, превосходя всех спартанцев простотою пищи и одежды; побывав у фракийцев – людей, приверженных к вину и любовным утехам, – и тех обогнал в подобных усладах; прибыв к персам, у которых выше всего ценится охотничья удаль и роскошная жизнь, так приладился к их привычкам, что сами они не могли надивиться на его отвагу и великолепие. Так и вышло, что, с какими бы людьми он ни жил, везде он оказывался самым первым и самым любимым» (Корнелий Непот. Алкивиад. 11).

пусть так и этот наш придворный опережает других, – и каждого именно в том, чему тот больше предан. Итак, поскольку у итальянцев особенно в чести умение хорошо ездить верхом с поводьями, объезжать лошадей, особенно норовистых, сражаться с копьем, биться верхом один на один, пусть в этом он будет среди лучших из итальянцев; в групповых боях, в умении «оборонять проход» и «биться за перекладину» не уступает лучшим из французов{63}; в «игре с тростями»{64}, бое быков, метании пик и дротиков – превосходит испанцев. Но прежде всего пусть каждому его движению сопутствуют обдуманность и изящество, если он хочет заслужить то всеобщее благоволение, которое столь высоко ценится.

XXII

Есть и много других упражнений, хоть и не связанных напрямую с военным делом, но имеющих с ним немало сходства и требующих мужественной стойкости: среди них одним из главных я считаю охоту, ибо и она в чем-то подобна войне. Поистине, это – забава государей, приличная и придворному; мы знаем, что и у древних она была во всеобщем обычае. Хорошо также уметь плавать, прыгать, бегать, метать камни, ибо, кроме той пользы, которую все это может

{63} Оборонительное и наступательное фехтовальные упражнения.

{64} Командная игра всадников, имеющая арабское происхождение; через испанцев на рубеже XV и XVI вв. получила распространение в Италии.

иметь на войне, часто случается показывать себя в подобных вещах; этим можно заслужить немалое уважение народной толпы, с которой тоже приходится считаться. Еще одно достойное и вполне приличное для придворного упражнение – игра в мяч, в которой прекрасно видны сложение тела, проворство и раскованность каждого его члена и все то, что видно почти в любом другом упражнении. Не меньших похвал, считаю, достойна вольтижировка: требуя много труда и умения, она больше, чем что-либо другое, придает человеку легкость и проворство. И если эта легкость сочетается с подлинным изяществом, то, по моему мнению, эти упражнения составляют зрелище прекраснейшее любого другого.

Итак, хорошо поднаторев в этих упражнениях, наш придворный, думаю, от прочих должен держаться в стороне. Имею в виду кувыркание на земле, хождение по канату и тому подобное, что почти неотличимо от трюков жонглеров и мало приличествует благородному человеку. Но поскольку нельзя непрерывно заниматься этими утомительными упражнениями, а кроме того, неизменная погруженность в одно и то же приедается, ослабляя то восхищение, которое вызывают вещи редкостные, то необходимо разнообразить нашу жизнь и другими занятиями. Так что пусть придворный по временам снисходит до более спокойных и тихих развлечений и, стремясь избегать людской зависти и держаться любезно с каждым, делает все то же, что делают другие, но при этом никогда не уклоняется от дел похвальных, ру-

ководствуясь благоразумием, которое не даст ему впасть во что-либо безрассудное: пусть смеется, шутит, острит, танцует и пляшет – но при этом выказывает искусность и сдержанность, и во всем, что делает и говорит, пусть будет изящен.

XXIII

– Препятствовать течению нашей беседы, конечно, не следовало бы, – сказал тогда мессер Чезаре Гонзага. – Но если я промолчу, то не воспользуюсь предоставленной мне свободой высказать свое мнение; кроме того, хочу узнать одну вещь. И пусть мне простят, если, вместо того чтобы возражать, я задам вопрос. Думаю, это позволяет мне и пример нашего мессера Бернардо, который, слишком желая, чтобы его сочли красавцем, нарушил правила нашей игры, не возражая, а только задавая вопросы.

– Вот видите, – сказала синьора герцогиня, – как одна ошибка влечет за собой другие. И кто нарушает правила, подавая дурной пример, как мессер Бернардо, тот заслуживает наказания не только за свой проступок, но и за проступки других.

– В таком случае, государыня, – ответил мессер Чезаре, – я буду избавлен от кары, ибо мессеру Бернардо придется ответить и за свой, и за мой проступок.

– Вовсе нет, – возразила синьора герцогиня. – Вы оба получите двойное наказание: он – за свой проступок и за то,

что вас подтолкнул к тому же; вы – за ваш проступок и за то, что повторили проступок другого.

– Государыня, – ответил мессер Чезаре, – я пока еще не сделал никакого проступка, и, оставляя все это наказание одному мессеру Бернардо, лучше промолчу.

Он и в самом деле умолк, но в это время синьора Эмилия сказала, смеясь:

– Да говорите же все, что вам угодно. С дозволения синьоры герцогини я прощаю того, кто совершил и кто совершит столь ничтожный проступок.

– Я рада, – добавила синьора герцогиня, – но смотрите, чтобы вам не обмануться, надеясь, может быть, снисхождением снискать больше похвал, чем справедливостью. Ведь, слишком легко прощая нарушающему порядок, мы проявляем несправедливость к тому, кто его не нарушает. И все же не хочу, чтобы сейчас, из-за того что я упрекнула вас за мягкосердечие, мы лишились бы возможности услышать вопрос мессера Чезаре.

И синьор Чезаре, получив знак согласия от синьоры герцогини и синьоры Эмилии, немедленно начал:

XXIV

– Помнится, господин граф, за нынешний вечер вы не раз повторили, что придворный должен свои поступки, жесты, повадки – словом, всякое свое движение – приправлять изя-

ществом: похоже, что оно идет у вас в качестве приправы ко всякому блюду, без которой остальные свойства и достоинства недорого стоят. И думаю, что каждый легко с вами согласится, ибо, в силу значения самого́ слова, можно сказать, что кто обладает изяществом (grazia), тот и приятен (grato). Но вы сами сказали, что оно зачастую бывает даром природы и небес; а когда дар этот и не вполне совершенен, усердием и трудом его можно значительно увеличить, – стало быть, те, что от рождения счастливо и щедро одарены таким сокровищем, по-моему, мало нуждаются в другом наставнике. Ибо эта щедрая милость небес едва ли не против воли возводит их выше, чем они сами желают, и делает их не только приятными, но и вызывает восхищение у всех. Однако говорю не о них, ибо сами собой стяжать такую милость мы не в силах. Я хотел бы спросить о людях, которым в силу их природы, чтобы сделаться привлекательными (aggraziati), остается прилагать лишь труд, старание и усердие. Каким искусством, каким обучением, каким способом смогут они приобрести это изящество – и в упражнениях тела, где вы его считаете столь необходимым, и во всех прочих делах и речах? Ведь поскольку вы, очень расхваливая нам это качество, кажется, пробудили во всех пылкую жажду им овладеть, то, согласно поручению синьоры Эмилии, ваш долг и утолить ее, обучив этому нас.

XXV

– Мой долг не учить вас, как сделаться привлекательными или чему-то еще, но лишь показать вам, каким следует быть совершенному придворному, – возразил граф. – И я не взял бы на себя труд такого обучения хотя бы потому, что чуть раньше сам же говорил, что придворный должен уметь бороться, делать упражнения верхом на коне и много других вещей. Как я мог бы вас этому научить, если сам этому никогда не учился, что вам прекрасно известно.

Как хороший солдат может сказать кузнецу о виде, прочности, удобстве нужных ему доспехов, но не может научить их изготовлению, проковке или закалке, – так и я, пожалуй, сумею сказать вам, каким следует быть хорошему придворному, но не научить, что надо вам делать, чтобы стать таким. Но, желая посильно удовлетворить вашу просьбу – хотя стало уже почти пословицей, что изяществу нельзя выучиться, – скажу: кому требуется стать привлекательным в телесных упражнениях (при условии, что он не является неспособным от природы), тот должен начинать с юных лет и постигать основы у лучших наставников. Насколько важным это представлялось Филиппу, царю Македонии, можно понять из того, что наставником в началах наук для своего сына Александра он пожелал иметь Аристотеля, столь славного и, может быть, самого великого философа из когда-либо

живших на свете. А что касается людей, известных ныне, можете оценить, как хорошо и изящно выполняет все телесные упражнения синьор Галеаццо Сансеверино, великий конюший Франции; и это потому, что, помимо своей природной стати, он со всем усердием учился у хороших наставников и всегда держался рядом с людьми выдающимися, от каждого беря то лучшее, что они умели{65}. Его учителем в борьбе, конных упражнениях и владении многими видами оружия был наш мессер Пьетро Монте, известный вам как подлинный и исключительный наставник в любом искусстве, требующем силы и ловкости. Что же касается скачек, турниров и всего прочего, он всегда смотрел на тех, кто слыл наиболее совершенным в каждом из этих занятий.

{65} Великий конюший (коннетабль) – одна из высших придворных должностей во Франции XV–XVIII вв. В ведении его находились королевская Великая конюшня в Версале, бывшая одновременно главным центром обучения сыновей дворян верховой езде, а также т. н. Школа пажей и все другие школы военного дела в королевстве. Галеаццо Сансеверино (1458–1525) – кондотьер, выходец из знатного неаполитанского рода, родной брат Гаспаре Сансеверино (см. примеч. 58). Долгое время состоял на службе у миланского герцога Лудовико Сфорца в качестве предводителя его войска. В 1500 г., будучи тяжело ранен в битве при Новаре, попал во французский плен. После освобождения безуспешно пытался добиться места при дворе императора Священной Римской империи Максимилиана. С 1505 г. – на службе у французских королей, бессменный и видный участник всех их военных кампаний в Италии. Погиб в 1525 г. в битве при Павии, защищая короля Франциска I. Единственный иностранец, удостоенный чина великого конюшего за всю историю этой должности. Известен галантностью и разносторонней образованностью; был другом Леонардо да Винчи, Луки Пачоли, Альбрехта Дюрера, Виллибальда Пиркгеймера и других знаменитых деятелей культуры.

XXVI

Итак, кто хочет быть прилежным учеником, должен не только хорошо делать то, что от него требуется, но и постоянно прилагать всякое старание, чтобы уподобляться наставнику, если возможно, прямо-таки перевоплощаясь в него. А когда почувствует, что уже нечто приобрел, тогда ему будет очень полезно посмотреть и на других людей, занимающихся тем же, и, следуя здравому рассуждению (которое пусть всегда будет его вождем), перенимать различные полезные навыки то у одного, то у другого. Как пчела в зеленых лугах среди трав выбирает медоносные цветы, так и наш придворный должен будет подхватывать это изящество у тех, кто, по его мнению, им обладает, у каждого заимствуя именно то, что наиболее похвально; но не так, как один наш друг, всем вам известный, который, считая себя очень похожим на короля Ферранте-младшего Арагонского [66], старался подражать ему не в чем ином, как в том, что часто вскидывал голову и кривил на сторону рот (повадка, которая у короля была последствием болезни). И многие полагают, будто довольно походить на какого-то великого человека хотя бы в чем-то, нередко выбирая как раз то, что является в нем единственной дурной чертой.

---

[66] См. примеч. 24.

Я часто размышлял: откуда берется изящество? Так вот, если не говорить о тех, кому оно даровано звездами, нахожу одно всеобщее правило, которое кажется мне наиважнейшим как в этом, так и во всем, что люди делают или говорят: следует что есть силы, как острого и опасного подводного камня, избегать нарочитости; и, если можно так сказать, держать себя с некой непринужденностью, скрывающей искусство, чтобы казалось, будто все, что делается и говорится, делается без труда и почти бессознательно. Вот из чего, думаю, в основном и проистекает изящество: поскольку всякий знает, как бывает трудно хорошо исполнять необычные дела, то непринужденность в них вызывает величайшее удивление. Напротив, когда человек тужится изо всех сил, когда он, что называется, «за волосы тянет», – это порождает только досаду, обесценивая любое дело, сколь угодно значительное. Истинным искусством можно назвать такое, которое не кажется искусством; более всего другого надо стараться, чтобы оно было скрыто: ибо, если оно обнажено, это полностью отнимает доверие и человека уже не ценят.

Помню, я как-то читал, что некоторые превосходнейшие ораторы древности в числе прочих своих хитроумных приемов старались внушить каждому мысль о том, что они вовсе не обучены словесности; утаивая свое умение, они делали вид, будто речи их составлены чрезвычайно просто, более согласно тому, что предлагали им естественность и истина, нежели старание и искусство; а если бы это открылось, то

вложило бы в души слушателей сомнение: а вправе ли оратор вводить их в заблуждение таким образом? Итак, вы видите, что, выдавая искусственность и преднамеренность, можно лишить изящества любое дело. Неужели кому-нибудь из вас не смешно, когда наш мессер Пьерпаоло{67} танцует в своей манере, подпрыгивая и вытягивая ноги вплоть до носков, боясь пошевелить головой, будто деревянный, с таким напряжением, что прямо-таки думаешь, что он двигается, считая шаги? Чье око столь слепо, что не увидит в этом нелепую нарочитость, а, напротив, у многих здесь присутствующих мужчин и женщин – изящество непринужденной раскованности (ибо так многие называют это качество в движениях тела), когда они, болтая, смеясь, отвечая движениям партнера, показывают, что вовсе не придают значения танцевальным фигурам, думая о чем угодно другом, отчего видящим их кажется, будто они не умеют и не могут ошибаться?

XXVII

В этом месте мессер Бернардо Биббиена, не дожидаясь конца речи, воскликнул:

– Вот и нашел наш мессер Роберто человека, который похвалит его манеру танцевать, раз уж более никто из вас, ка-

{67} Мессер Пьерпаоло – танцмейстер при урбинском дворе, сын знаменитого хореографа и теоретика танца Гульельмо Эбрео (ок. 1420 – ок. 1484), в конце жизни переселившегося в Урбино.

жется, не обратил на нее внимания. Если это совершенство состоит в непринужденности и в том, чтобы показывать, будто не придаешь значения тому, что делаешь, думая скорее о чем угодно другом, чем об этом, тогда в танце мессер Роберто не имеет равных в целом свете. Ибо, показывая, что вовсе о нем не думает, он нередко и плащ роняет с плеч, и туфли с ног и, ничего не подбирая, так и танцует.

– Поскольку вы все же хотите, чтобы я продолжал, – ответил граф, – я еще поговорю о наших промахах. Вы разве не видите, что то, что у мессера Роберто вы называете непринужденностью, и есть самая настоящая нарочитость? Ведь он очевидным образом всячески старается показать, будто ни о чем таком не думает, а это и значит думать об этом слишком, и, поскольку он переступает границы умеренности, его небрежность нарочита и выглядит дурно. Ибо как раз противоположно поставленной цели, которая, как мы только что говорили, состоит в том, чтобы скрыть искусство. И я не считаю нарочитость под видом непринужденности (которая сама по себе похвальна), когда роняют одежду с плеч, меньшим пороком, нежели когда под видом утонченности (которая тоже сама по себе похвальна) боятся двинуть головой, чтобы не испортить замысловатую прическу, или в подкладке шапки носят зеркальце, а в рукаве – гребешок и ходят по улице непременно в сопровождении пажа с губкой и метелочкой{68}.

{68} Губка – для удаления случайных капель грязи, а метелочка из перьев – для

И утонченность, и непринужденность такого рода слишком близки к крайности, которая всегда порочна и противоположна чистой и приятной простоте, столь отрадной для людских душ. Смотрите, как неуклюже смотрится всадник, который старается ехать, вытянувшись в седле, как у нас говорят, по-венециански, рядом с другим, который, кажется, вовсе не задумывается об этом и на коне держится так непринужденно и уверенно, словно стоит на земле. Насколько больше любят и хвалят дворянина, носящего оружие, который при этом скромен, немногословен и не хвастлив, чем другого, который только и знает хвалиться да с руганью и вызовом делать вид, будто плюет на весь мир! Что это, как не нарочитое старание казаться бравым малым? И так же можно судить обо всем, что делается и говорится на этом свете.

XXVIII

– Это справедливо и в отношении музыки, – вступил в разговор синьор Маньифико, – в которой считается грубейшей ошибкой взять два совершенных консонанса один за другим, так как одно и то же ощущение нашему слуху досадно, и он подчас предпочитает секунду или септиму, что само по себе является резким и нестерпимым диссонансом. Так получается потому, что последовательность совершенных [консонансов] порождает пресыщение и обнаруживает

обмахивания пыли с платья.

слишком нарочитую гармонию. Этого избегают, смешивая несовершенные звукосочетания как бы для сравнения, отчего наши уши, сильнее напрягаясь, более жадно ожидают совершенных и наслаждаются ими, а подчас находят удовольствие в диссонансах секунды и септимы, как в чем-то непринужденном.

– Вот и пример, как вредит нарочитость в этой области, как и во всем другом, – подхватил граф. – Еще говорят, что у знаменитых живописцев древности была поговорка: чрезмерная тщательность вредит, а Апеллес порицал Протогена за то, что тот не умеет рук оторвать от доски{69}.

– Тот же самый недостаток, – вставил мессер Чезаре, – есть, кажется, и у нашего фра Серафино, который не умеет оторвать рук от доски{70}, во всяком случае, пока не унесут со стола все кушанья.

Граф улыбнулся и добавил:

– Апеллес хотел сказать, что Протоген, когда писал, не знал, когда уже надо остановиться; то есть порицал излишнюю нарочитость в его работах. Стало быть, то качество,

---

{69} Апеллес (ок. 370 – после 306 г. до н. э.) – греческий живописец, чье дарование в античности считалось не имеющим себе равных. Работал первоначально в Эфесе, но в правление Филиппа II перебрался в столицу Македонии Пеллу. Протоген (ок. 374/373 – 299/297 г. до н. э.) – греческий живописец, работавший преимущественно на Родосе. Случай описан у Плиния Старшего (Естественная история, XXXV, 79, 80).

{70} Игра слов: стоящее в оригинале tavola одновременно означает и «стол», и «деревянная панель» (как основа для картины; живопись на натянутом холсте была еще в новинку).

противоположное нарочитости, которое мы здесь именуем непринужденностью, не только является истинным источником изящества, но имеет и другую прекрасную черту: проявляясь в любом, даже самом мелком действии человека, она не только сразу открывает умение делающего, но часто заставляет ценить его куда больше, чем он того заслуживает по правде, ибо у окружающих создается мнение, будто тот, кто столь легко выполняет что-либо, умеет намного больше, и если бы он в то, что делает, вложил усердие и труд, то мог бы делать это намного лучше.

Взять, к примеру, человека, владеющего оружием: если, метая копье или беря в руку меч или другое оружие, он не задумываясь, непринужденно встает на изготовку, так легко, что кажется, будто тело со всеми его членами принимает это положение естественно, без всякого усилия, – то, даже не производя иных движений, он любому покажется мастером этого дела. То же самое в танцах: один только шаг, одно только изящное и непринужденное движение тела тотчас выдает мастерство танцора. Если певец в пении произносит в двойном группетто одну лишь ноту так мягко и с такой легкостью, будто все вышло само собой, одним этим он уже дает понять, что способен и на большее. Часто и в живописи одна только непринужденная линия, один мазок кисти, положенный так легко, будто рука, не направляемая никакой выучкой или искусством, сама собой движется к своей цели соответственно намерению художника, – с очевидностью до-

казывает совершенство мастера, о чем каждый судит затем согласно своему разумению. Это справедливо и в отношении почти всего остального.

Итак, наш придворный будет считаться превосходным, во всем, а особенно в речи, проявляя изящество, если сумеет избежать нарочитости – этой ошибки, в которую впадают многие, и подчас больше других – наши ломбардцы: пробыв год вдалеке от родных мест, по возвращении домой они начинают говорить то по-римски, то по-испански или по-французски, и Бог знает как; и все от излишнего желания показать, что много узнали: так люди тратят усердие и старание, чтобы усвоить дрянную повадку. И немалого бы мне стоило труда в этих наших беседах говорить старинными тосканскими словами, вышедшими из обихода у самих нынешних тосканцев; к тому же, думаю, надо мной все бы смеялись.

XXIX

На это мессер Федерико сказал:

– Действительно, в таком разговоре, как у нас сейчас, пожалуй, неуместны эти старинные тосканские слова; поскольку, как вы говорите, они будут утруждать и говорящего и слушающего, и понимать их многим будет нелегко. Но если пренебрегает ими пишущий, я, право, думаю, что он делает ошибку, ибо эти слова придают написанному много изящества и силы, и с ними речь выходит более торжественной и

величавой, нежели с новыми.

– Не знаю, – ответил граф, – какое изящество и силу способны придать написанному слова, которых нужно избегать не только в беседе вроде нашей нынешней (что вы сами признаете), но и в любой другой, какую можно представить. Ибо если любому благоразумному человеку случится держать речь о серьезных предметах перед сенатом самой Флоренции, столицы Тосканы, или частным образом говорить с лицом, занимающим в этом городе какое-то положение, по важному делу или с кем-нибудь откровенно о вещах приятных – например, кавалеру с дамой или, наоборот, даме с кавалером – о любви, или шутя и смеясь на празднике, в игре, еще в чем-то подобном, или где угодно, в любое время, в любом месте, по любому поводу – я уверен, что он остережется использовать эти старые тосканские слова; а если нет, то не только выставит себя на смех, но и очень утомит любого из слушающих. И мне кажется очень странным считать пригодными на письме те слова, которых избегаешь как непригодных в разговоре любого рода, уповая на то, что неподходящее для устной речи будет самым подходящим способом выражения в письменной. Ибо, напротив, по-моему, письмо есть не что иное, как одна из форм речи, сохраняющаяся и после того, как человек закончит говорить, словно некий образ или, скорее, сама жизнь слов. Поэтому в устной речи, которая рассеивается сразу, как только смолкнет голос, могут быть терпимы некоторые вещи, которых не допускают на

письме; ведь письмо сохраняет слова и отдает их на суд читающего, давая время составить зрелое суждение. И разумно вкладывать в письменный текст больше старания, чтобы он вышел более изящным и исправным, – но не так, чтобы написанные слова отличались от слов произносимых, а выбирая для письма самые красивые слова из используемых в разговоре. А если бы на письме позволялось то, что непозволительно в разговоре, – из этого, думаю, произошло бы что-то в высшей степени неподобающее: можно было бы позволять себе бóльшую развязность там, где нужна бóльшая обдуманность, и то искусство, которое вкладывают в письменную речь, вместо пользы приносило бы вред. Поэтому, бесспорно, уместное на письме уместно и в устной речи, и наиболее красива та устная речь, что подобна красиво написанному.

Итак, еще раз повторю: намного важнее быть понятным в писании, чем в разговоре; ибо те, кто пишут, не всегда находятся рядом с читающими, как те, кто говорят, – со слушателями. И мне кажется похвальным, если человек, избегая злоупотребления старинными тосканскими словами, при этом уверенно использует – и на письме, и в разговоре – те, которые сегодня в ходу как в Тоскане, так и в других областях Италии и имеют некое изящество в произношении. А подчиняющий себя иному правилу, на мой взгляд, рискует впасть в ту самую нарочитость, которую мы в нашей беседе только что сильно порицали.

XXX

Мессер Федерико ответил на это:

– Синьор граф, я не могу отрицать, что письмо – один из видов разговора. Я лишь утверждаю, что если произносимые слова имеют в себе что-то неясное, то речь не проникает в душу слушателя; прозвучав и не будучи понята, она оказывается бесполезной. На письме так не бывает, ибо если слова, употребляемые писателем, содержат в себе нечто, не скажу трудное, но прикровенно-тонкое, не столь известное, как слова, звучащие в обыденных разговорах, то они придают написанному бóльшую весомость. Они делают так, что читатель, напрягаясь и как бы поднимаясь над самим собой, лучше ценит написанное и полнее способен насладиться талантом и ученостью сочинителя. Немного потрудившись умом, он вкушает наслаждение, которое таит в себе познание вещей нелегких. А если неосведомленность читателя такова, что тот не в силах преодолеть трудности, виноват здесь не сочинитель, и нельзя из этого заключать, что язык его не хорош.

Поэтому на письме, полагаю, уместно использовать тосканские слова, и именно бывшие в употреблении у прежних тосканцев; ибо это – сильное, заверенное временем свидетельство того, что они хороши и вполне передают смысл того, ради чего говорятся. А сверх того, несут в себе то очаро-

вание и почтенность, которые древность придает не только словам, но и зданиям, статуям, картинам и всему, что способно их сохранять. И часто одним своим блеском и достоинством слова эти делают повествование прекрасным: свойство, которым, вместе с изысканностью стиля, любой предмет, будь он сколь угодно низким, может быть так расцвечен, что удостоится высших похвал.

Но это ваше «обыкновение», которому вы придаете такую силу, мне кажется очень опасным и часто ведущим ко злу. И если обнаружилось, что какой-то речевой порок укоренился среди толпы невежд, не думаю, что из-за этого надо возводить его в правило, которому якобы должны следовать и другие. Кроме того, обыкновения весьма различны, и нет среди знаменитых городов Италии такого, что не имел бы своего наречия, отличающегося от всех остальных. Раз вы не решаетесь объявить, какое из них лучшее, то человек может отдать предпочтение хоть бергамскому наречию{71} точно так же, как и флорентийскому; ведь, по-вашему, в этом не будет никакой ошибки. А я думаю, что желающему избежать вся-

{71} Среди сельского населения округи г. Бергамо, как, впрочем, и в других горных местностях Северной Италии, вплоть до середины XX в. были широко распространены такие заболевания, как эндемический зоб, сильно затруднявший речь, и сопутствующий ему кретинизм. В итальянской медицинской статистике еще век назад существовал даже термин «кретинические селения» – те, где умственная отсталость была уделом большой (а то и большей) части жителей. Причиной этого народного бедствия была нехватка йода в воде и пище. «Бергамское наречие» служит мессеру Федерико примером речи людей умственно неразвитых и чуждых культуры.

кого сомнения и обрести уверенность надо предложить для подражания писателя, которого всеобщее согласие считает хорошим, в качестве ориентира и защиты от упреков. А таковым (имею в виду в народном языке), по моему мнению, не может быть никто, кроме Петрарки и Боккаччо; и всякий отдаляющийся от них бредет ощупью, подобно тому, кто, идя в потемках без фонаря, часто сбивается с дороги. Но мы, нынешние, так смелы, что считаем ниже своего достоинства делать то, что делали лучшие из древних, то есть прилежно заниматься подражанием, без чего, полагаю, невозможно научиться писать хорошо. Верное свидетельство этого я нахожу в Вергилии, который своим дарованием и поистине божественным умом отнял у потомков надежду успешно подражать ему, но при этом сам стремился подражать Гомеру.

XXXI

Тогда синьор Гаспаро Паллавичино сказал:

– Эту дискуссию о письменной речи, конечно, стоило послушать, однако для нашей цели было бы полезнее, если бы вы разъяснили нам, как должен придворный говорить, потому что, мне кажется, он нуждается в этом больше и ему чаще приходится выражаться устно, нежели писать.

Маньифико ответил:

– Напротив, такому превосходному и исполненному совершенств придворному, без сомнения, просто необходимо

уметь и то и другое; а без этих двух качеств все остальные навряд ли удостоятся больших похвал. Поэтому, если графу будет угодно по-настоящему исполнить свой долг, он обучит придворного не только говорить, но и писать хорошо.

– Нет уж, синьор Маньифико, увольте, – сказал граф. – С моей стороны было бы весьма глупо взяться обучать других тому, чего не умею сам, а если б даже умел – думать, что можно немногими словами осуществить то, чего со многим усердием и трудом едва достигали ученейшие мужи. К чьим сочинениям я и отослал бы нашего придворного, будь я все же обязан обучать его письму и речи.

Мессер Чезаре заметил:

– Синьор Маньифико имеет в виду – обучать речи и письму на народном языке, а не на латыни, так что эти ваши сочинения ученых мужей к делу не относятся. Однако нам нужно, чтобы вы рассказали об этом все, что знаете, а остальное мы вам простим.

– Я уже все рассказал, – ответил граф. – А если говорить о тосканском наречии, то, может быть, высказать суждение о нем – долг скорее синьора Маньифико, чем кого-либо другого?

– Я и по совести не могу, и не вижу разумных оснований спорить с теми, кто говорит, что тосканское наречие красивее прочих, – сказал Маньифико. – Но верно и то, что у Петрарки и Боккаччо найдется много слов, которые сегодняшнее обыкновение отвергает. И я, со своей стороны, ни за что

не стал бы их использовать ни в разговоре, ни на письме; думаю, что даже сами эти писатели, доживи они до наших дней, их уже не употребляли бы.

– Как раз напротив, они-то употребляли бы, – сказал мессер Федерико. – А вам, господа нынешние тосканцы, следовало бы возродить ваш язык, а не оставлять его на погибель, как вы делаете: ибо уже можно сказать, что во Флоренции его знают меньше, чем во многих других местах Италии.

– Слова, которыми не пользуются более во Флоренции, сохранились среди поселян, – ответил мессер Бернардо. – Люди благородные гнушаются ими как испорченными и обветшалыми.

XXXII

Но тут дискуссию прервала синьора герцогиня:

– Итак, не станем отклоняться от первоначальной темы и обяжем графа Лудовико научить придворного хорошо говорить и писать, хоть на тосканском наречии, хоть на каком другом.

– Синьора, – ответил граф, – я уже сказал об этом все, что знаю; и считаю, что те же правила, что годятся для обучения одному языку, сгодятся и для обучения другому. Но поскольку вы мне приказываете, я отвечу, как считаю нужным, мессеру Федерико, имеющему иное мнение. Возможно, мне придется говорить несколько пространнее, чем по-

лагалось бы, но это и будет все, что я могу сказать. Во-первых, по моему разумению, этот наш язык, который мы называем народным, пока еще молод и нов, хотя и давно уже находится в обращении. Ибо по причине того, что варвары не только опустошили и разграбили Италию, но и надолго поселились в ней, латинский язык в ходе общения с этими народами был испорчен и поврежден, и из этой порчи родились другие языки.

Как реки, от хребтов Апеннин расходясь в противоположные стороны, стекают в два моря, так разделились и эти языки; и некоторые, приобретя преимущественно латинскую окраску, разными путями попали в разные страны, а один, сильно подвергшийся варварскому воздействию, остался в Италии. Длительное время он оставался у нас неупорядоченным и разнородным, ибо никто не пекся о нем, на нем не писал, не стремился придать ему какой-либо блеск и изящество; но все же о нем несколько больше заботились в Тоскане, нежели в других областях Италии; и, как мне кажется, его цвет сохранился здесь еще с тех давних времен, оттого что здешний народ более других соблюдал благозвучие в произношении, а грамматический строй поддерживал в должном порядке. А также оттого, что в его среде явились три знаменитых писателя, которые талантливо и с помощью тех слов и выражений, что были в обыкновении в их время, воплотили свои замыслы{72}. (Что лучше других, по моему мнению, уда-

{72} «Три знаменитых писателя» – Данте, Петрарка, Боккаччо.

лось Петрарке в предметах любовных.)[73] Позднее же, когда по временам уже не только в Тоскане, но и по всей Италии среди людей благородных, сведущих в делах придворных, военных и в словесности возникало некоторое стремление изъясняться и писать более изысканно, чем прежде, в века грубые и некультурные, когда пожар бедствий, учиненных варварами, еще не был потушен, – многие слова были заброшены, как в самом городе Флоренции и во всей Тоскане, так и в остальной Италии, а вместо них вошли в обиход другие, – одна из тех перемен, которым подвластны все человеческие дела.

То же всегда происходило и с другими языками. Ибо, если бы первые писания на латинском языке сохранились до наших дней, мы бы увидели, что Эвандр, Турн[74] и прочие латиняне тех времен говорили иначе, нежели последние римские цари и первые консулы. Например, стихи, которые пели салии, были едва понятны последующим поколениям[75],

---

[73] Имеется в виду «Канцоньере» (т. е. «Песенник»), сборник из 366 стихотворений (преимущественно сонетов) на вольгаре, посвященных Петраркой его возлюбленной Лауре де Нов с 1336 по 1374 г.

[74] Эвандр – легендарный царь, по преданию переселившийся из греческой Аркадии в Италию и основавший город Паллантий на месте будущего Рима. Турн – персонаж «Энеиды», царь племени рутулов. Эней, убив Турна в поединке, женился на его невесте Лавинии.

[75] Салии – римская коллегия жрецов Марса и Квирина. Древние песнопения, о которых идет речь, исполнялись ими во время ритуальных плясок в честь Марса. Гораций (65–8 гг. до н. э.) пишет, что в его времена их слова были уже практически никому не понятны (Послания, II, 1, 86).

но, переданные именно в таком виде первыми учредителями обрядов, они, из уважения к религии, не подвергались переделкам. Так ораторы и поэты постепенно выводили из употребления многие слова, которыми пользовались их предшественники: ибо Антоний{76}, Красс{77}, Гортензий{78}, Цицерон избегали многих слов, обычных для Катона{79}, а Вергилий – многих слов Энния{80}. Так же поступали и другие: питая почтение к старине, они, однако, ценили ее не настолько, чтобы быть ею связанными так, как хотите вы теперь связать нас, но, когда казалось нужным, они ее даже порицали, как Гораций, который говорит, что предки хвалили Плавта

{76} Марк Антоний Оратор (143–87 гг. до н. э.) – политик и оратор, консул 99 г. до н. э. Противник Гая Мария, пал одной из жертв массовых убийств, последовавших за победой его партии.

{77} Луций Лициний Красс (140–91 гг. до н. э.) – политик и оратор, консул 95 г. до н. э. Делил с Марком Антонием (см. выше) славу лучшего оратора своего времени. Для него был характерен виртуозный ритмический стиль (азианизм), при котором прозаический текст делился на ритмизованные клаузулы.

{78} Квинт Гортензий Гортал (114–50 гг. до н. э.) – политик и оратор, консул 69 г. до н. э. Многократный соперник Цицерона на громких процессах эпохи.

{79} Марк Порций Катон Старший (234–149 гг. до н. э.) – римский политический и государственный деятель, консул 195 г. до н. э. Известен также как писатель и оратор.

{80} Публий Вергилий Марон (70–19 гг. до н. э.) – великий римский поэт, автор эпической поэмы «Энеида». Широко известны также более ранние его труды – цикл пастушеских стихов «Буколики» и «Георгики», дидактический цикл, посвященный земледелию. Будучи совершенно самостоятельным мастером, в жанровом отношении Вергилий наследует греческим образцам: Гомеру, Гесиоду и Феокриту. Квинт Энний (239–169 гг. до н. э.) – римский поэт, автор огромной исторической поэмы «Анналы», дошедшей до нас лишь во фрагментах.

по глупости{81}, и желает иметь возможность вводить новые слова{82}. И Цицерон во многих местах упрекает многих своих предшественников: чтобы умалить Сервия Гальбу, утверждает, что его речи отдают стариной{83}; и еще говорит, что и Энний невысоко ценил писавших прежде него{84}. Так что если мы захотим подражать древним, то тем самым не станем им подражать. И Вергилий, который, как вы говорите, подражал Гомеру, не подражал его языку.

XXXIII

Итак, что до меня, я все же обходился бы без этих старинных слов, вставляя их разве что в определенных местах и нечасто; мне кажется, кто использует их иначе, совершает

{81} Гораций. О поэтическом искусстве. 270–272.

{82} Там же. 50–62: «Да позволено будет и то, что не слыхано было /…скромно ввести в обращенье. / К новым, недавно введенным словам, окажут доверье, / Если в них греческий строй слегка изменен. /…Чем заслужу я немилость / Вмале трудясь, коль язык Катона и Энния многим / Обогащал отцовскую речь, находя для предметов / Новые имена? Дозволено было и будет / Слово вводить, зачеканив его современной печатью. / Как меняются листья в лесу с отживающим годом, / Старые падают: так и слова отжившие гибнут, / А порожденные вновь зацветают, как юноши силой» (пер. А. Фета).

{83} См. Цицерон. Брут. 21. Сервий Сульпиций Гальба (194 или 191 – после 137 г. до н. э.) – римский военачальник, политик и оратор, консул 144 г. до н. э. Кроме недюжинного ораторского дара, известен жестокостью и вероломством, которые проявил в Испании, возглавляя римское войско во время войны с лузитанами.

{84} Там же. 18–19.

ошибку не меньшую, чем тот, кто, желая подражать древним, стал бы снова питаться желудями, хотя люди давно умеют выращивать пшеницу{85}. И коль вы говорите, что старинные слова одним блеском древности так украшают любой, сколь угодно низкий предмет, что могут сделать его достойным великой похвалы, то я скажу, что не только эти старинные слова, но и вполне употребительные не считаю, по справедливости, особо ценными, если в них не содержатся прекрасные мысли. Ибо отделять мысли от слов – это как отделять душу от тела: ни того ни другого нельзя сделать без пагубы.

Первостепенно важным для придворного, чтобы хорошо изъясняться и писать, я считаю знание{86}; ибо тот, кто ничего не знает и не имеет в душе мысли, которая заслуживала бы внимания, тот не в состоянии ни высказать ее, ни ее записать. Затем нужно расположить в красивом порядке то, о чем предстоит говорить или писать; затем – хорошо выразить это в словах, которые, насколько я понимаю, должны быть точными, изысканными, блестящими и хорошо подобранными, но прежде всего быть еще в народном употреблении. Ибо они придают речи величие и торжественность, если говоря-

---

{85} Античные писатели и поэты сохранили предание о временах, когда народы Средиземноморья употребляли в пищу желуди (Павсаний. Описание Эллады. VIII, 1, 2; Страбон. География. III, 3, 7; Плиний Старший. Естественная история. VII, 56; Вергилий. Георгики. 1, 5; Овидий. Метаморфозы. I, 106 и др.).

{86} Гораций. О поэтическом искусстве. 309: «Знание – вот начало и источник искусства правильно писать» (пер. мой. – П. Е.). Ср. также: Цицерон. Об ораторе. I, 2, 5.

щий, обладая рассудительностью и усердием, умеет подбирать их согласно смыслу того, что намерен сказать, выделять их и, как воску, по своей воле придавая им форму, размещать в таких местах и в таком порядке, чтобы они сразу обнаруживали свои достоинство и блеск, словно картины, выставленные при хорошем естественном освещении. И я говорю это как об искусстве письма, так и об искусстве речи, для которого, однако, требуются еще некоторые качества, необязательные в письме: хороший голос, не слишком тонкий или изнеженный, как у женщины, и не такой грубый и дикий, как у деревенского мужика, но звучный, ясный, приятный и хорошо поставленный, вместе с четким произношением, с приличными повадками и жестами. Последние же, на мой взгляд, заключаются в определенных движениях всех частей тела, не вычурных, не резких, но умеряемых располагающим выражением лица и взглядом, который имел бы приятность и не противоречил словам, передавая, насколько возможно, вместе с жестами намерения и чувства говорящего. Но все это окажется пустым и бесполезным, если мысли, выражаемые в словах, не будут прекрасными, разумными, острыми, изысканными и, при необходимости, серьезными.

XXXIV

– Если этот ваш придворный будет говорить столь изысканно и серьезно, – отозвался мессер Морелло, – я сомнева-

юсь, что среди нас найдутся способные его понимать.

– Напротив, его будут понимать все, – возразил граф, – ибо доступность речи не исключает изысканности. Я не о том, чтобы он всегда говорил серьезно; в подобающее время пусть говорит о приятных пустяках, развлечениях, передает остроумные высказывания и шутки – но делает это всегда тактично, осмотрительно, не превращая словоохотливость в болтливость и ни в коем случае не выказывая мальчишеского хвастовства и безрассудства. А когда будет говорить о чем-то малопонятном и трудном, пусть подробно излагает дело в ясных словах и суждениях, растолковывая и распутывая любую двусмысленность, – и все это старательно, но без навязчивости. Когда же понадобится, пусть он умеет говорить с достоинством и напором, пробуждая чувства, живущие в наших душах, воспламеняя их или направляя, куда требуется; а подчас – в простоте той искренности, когда кажется, что сама природа говорит, – умиляя их и почти опьяняя сладостью, делая это так непринужденно, чтобы тот, кто его слышит, подумал, что и сам без большого труда сможет достичь того же, но, попытавшись это сделать, понял бы, сколь ему до этого далеко.

Вот как я хотел бы, чтобы умел говорить и писать наш придворный, – и похвалил бы его, если он не только будет брать яркие и изысканные слова из любой области Италии, но подчас и французские и испанские речения, уже вошедшие в наш обиход. Меня не возмутило бы, скажи он в случае

надобности что-нибудь вроде «primor»{87}, «accertare»{88}, «avventurare»{89} или, например, «ripassare»{90}, подразумевая: познакомиться с человеком и потолковать с ним, чтобы составить о нем полное представление; или скажи он о каком-то рыцаре: «senza rimproccio»{91}, «attillato»{92} – или о фаворите некоего государя: «creato»{93} и тому подобное, – конечно, если рассчитывает, что его понимают.

Пусть он подчас употребляет слова и не в собственном значении, а, умело перенося их, прививает, как юный отросток дерева к более породистому стволу, дабы прибавить им прелести и красоты, как бы поднося вещи к глазам и давая, как говорится, потрогать их руками, к удовольствию тех, кто слушает или читает. Пусть также не боится создавать новые слова вкупе с новыми фигурами речи, изящно заимствуя у римских авторов, как некогда сами римляне заимствовали их у греков.

{87} Primor – совершенство, безупречность; также: прелесть, загляденье (употребляется и как обращение к близкой женщине) (исп.).

{88} Accertare – здесь в значении: попасть в цель; от «acertar» (исп.).

{89} Avventurare – здесь в значении: рискнуть; от «aventurar» (исп.).

{90} Ripassare – здесь в значении: проверить, обговорить, обсудить; от «repasar» (исп.).

{91} Senza rimproccio – безупречный; от sans reproche, т. е. «без упрека» (фр.).

{92} Attillato – здесь в значении: роскошно одетый; от «atildado» (исп.).

{93} Creato, от исп. «creado» – креатура, фаворит.

XXXV

И если кто-нибудь из людей ученых, талантливых и разумных (а такие сегодня находятся и среди нас) возьмет на себя труд писать на нашем языке в описанной манере вещи, достойные прочтения, то мы вскоре увидим этот язык отделанным, богатым словами и красивыми фигурами и вполне подходящим для того, чтобы писать на нем так же хорошо, как и на любом другом. И пусть даже это будет не старый тосканский язык в чистом виде – зато он будет итальянским, общим для всех, богатым и разнообразным, как прекрасный сад, полный всякого рода цветов и фруктов.

И это не что-то небывалое; ибо из четырех языков{94}, бывших в употреблении, греческие писатели, отбирая из каждого подходящие слова, обороты и фигуры, создали еще один, получивший название общего; и с тех пор все пять одинаково назывались греческим языком. И хотя афинское наречие было изящнее, чище и богаче других, те хорошие писатели, что происходили не из Афин, не были к нему привержены до такой степени, чтобы их нельзя было узнать по манере письма и как бы по аромату и своеобразию их родного наречия; и никто их за это не презирал; напротив, порицались те, которые хотели казаться слишком афинянами.

{94} Имеются в виду основные диалекты древнегреческого языка: аттический, дорийский, ионический и эолийский.

Также и среди латинских писателей в свое время почитались многие неримляне, хоть у них и нельзя было найти той чистоты собственно римской речи, которую лишь в редких случаях могут приобрести не коренные римляне. Нисколько ведь не отвергали Тита Ливия, даже если кто и находил у него признаки патавийского наречия{95}, ни Вергилия, притом что его попрекали неримским выговором{96}. А еще, как вам известно, в Риме читали и высоко ценили многих писателей родом из варваров.

Но мы, куда более строгие, нежели древние, несвоевременно подчиняем себя неким новым законам и, имея перед глазами надежные дороги, ищем окольных троп; ибо в нашем собственном языке, чье назначение, как и всех других, хорошо и ясно выражать образованные в духе мысли, тешим себя темнотою и, называя этот язык «народным», хотим использовать в нем слова, непонятные не только простонародью, но и людям благородным и образованным, нигде ныне не употребляемые; и не берем примера с хороших древних авторов, которые порицали использование слов, отвергнутых обиходной речью. Которую вы, по моему впечатлению, знаете не весьма хорошо, раз говорите, что если какой-то порок речи укоренился во многих невеждах, то его

{95} Тит Ливий (59–17 гг. н. э.) – римский историк, автор «Истории от основания города» в 142 книгах. Родился и вырос в Патавии (совр. Падуя). Это замечание было сделано историком Г. Азинием Поллионом еще при жизни Ливия.

{96} Вергилий был родом из Мантуи.

не следует называть «обыкновением» и принимать за правило, а в то же время, как я не раз слышал, хотите, чтобы вместо «Capitolio» говорили «Campidoglio», «Girolamo» вместо «Ieronimo», «aldace» вместо «audace», «padrone» вместо «patrone»{97} и тому подобные испорченные и поврежденные слова, на том основании, что их, оказывается, так записал в старину какой-то невежественный тосканец и что их так произносят сегодня тосканские поселяне. Так вот, я считаю, что доброе обыкновение в речи создается одаренными людьми, которые учением и опытом приобрели дар различения, с которым сообразуются, соглашаясь принять слова, которые сочтут пригодными, распознавая их неким природным суждением, а не искусственно или подчиняясь какому-нибудь правилу. Или вам не известно, что все фигуры, придающие речи столько изящества и блеска, являются отступлениями от грамматических правил? Однако они приняты и утверждены обычаем, потому что они – здесь нельзя привести других причин – просто нравятся и словно самим ушам любезны и приятны. Вот это я и считаю добрым обыкновением. И оно может встретиться как у тосканцев, так и у римлян, неаполитанцев, ломбардцев и всех остальных.

{97} Граф сравнивает слова «Капитолий», «Иероним», «смелый», «хозяин» в вариантах, более близких к латыни, с теми же словами, произносимыми на тосканский манер.

XXXVI

Правда, что во всяком языке есть качества, которые всегда хороши, как, например, легкость, стройный порядок, богатство, красивые речения, ритмизованные клаузулы; напротив, нарочитость и иные вещи, противоположные названным, дурны. Но из слов иные какое-то время сохраняют пригодность, а затем устаревают и полностью теряют свое изящество; другие входят в силу и поднимаются в цене. Как времена года то обнажают землю от цветов и плодов, то вновь покрывают ее другими, так время отбрасывает устарелые слова, а обыкновение возрождает другие, наделяя их изяществом и достоинством до тех пор, пока и они не отмирают, мало-помалу снедаемые завистливым временем; ибо и мы сами, и все наше в конечном счете обречено смерти. Подумать только: нам вовсе ничего не известно о языке осков{98}. Провансальский, который, можно сказать, был прославлен своими знаменитыми писателями, теперь непонятен жителям Прованса{99}. И я думаю, что, как верно заметил синьор

{98} Оскский язык – язык ряда племен Южной и Средней Италии, объединяемых общим именем осков или опиков. Родствен латинскому; к настоящему времени частично расшифрован. Сохранилось более трехсот надписей на нем, относящихся к периоду с V по конец I в. до н. э., когда, как считается, этот язык полностью угас.

{99} Провансальский язык – язык коренного населения Прованса, исторической области на юго-востоке Франции, ограниченной с востока Альпами, а с юга Сре-

Маньифико, если бы Петрарка и Боккаччо были сейчас живы, они не использовали бы многие из слов, которые мы находим в их сочинениях; поэтому мне не кажется правильным подражать им. Я очень хвалю тех, кто умеет подражать тому, чему подражать должно; при этом не считаю, будто без подражания нельзя писать хорошо; особенно на этом нашем языке, в котором нам может оказать помощь обыкновение, чего не скажешь о латыни.

XXXVII

Тогда мессер Федерико спросил:

– Почему вы считаете, что обыкновение больше значит для народного языка, чем для латыни?

диземным морем. Между XI и XIII в. на нем существовала богатая литература, ядром которой была поэзия трубадуров, повлиявшая на всю позднейшую европейскую лирику. Поскольку провансальская школа распространилась далеко за пределы собственно Прованса, и ее нормы и представления были восприняты не только носителями языка, а и поэтами из других регионов Франции и сопредельных стран (в том числе итальянцами), язык этой поэзии, впитав в себя много инородных элементов, стал чисто литературным языком определенной культурной среды. Немудрено, если простые провансальцы, говорившие на том или ином из местных диалектов, не могли понять язык трубадуров; последние нередко сознательно стремились сделать свою речь понятной лишь посвященным – тем, кто разделял идеал благородной, т. н. куртуазной любви, служившей главной темой для провансальской лирики. Об этой поэтической традиции, ее содержании и ее месте в мировоззрении Кастильоне см. подробнее в нашей статье «Крупицы человечности Бальдассаре Кастильоне и книга его жизни». См. также: Мейлах М. Язык трубадуров. М.: Наука, 1975. С. 19–26.

– Нет, – ответил граф, – я считаю, что обыкновение является наставником и в том и в другом. Но поскольку людей, для которых латинский язык был в той же мере своим, как для нас народный, на свете больше нет, нам приходится по написанному ими изучать то, что они усвоили из обиходной речи. Ведь говорить по-старинному и означает старинное обыкновение говорить. И глупо было бы любить старинную речь только из-за того, что предпочитаешь говорить, как говорили раньше, а не как говорят сейчас.

– Стало быть, древние не подражали? – спросил мессер Федерико.

– Думаю, что многие из них подражали, но не во всем, – сказал граф. – Если бы Вергилий во всем подражал Гесиоду, он не превзошел бы его; также и Цицерон – Красса, и Энний – своих предшественников. Например, Гомер столь древен, что многие считают его первым по времени героическим поэтом, – так же как первый он по совершенству слога. Кому он, по-вашему, подражал?

– Другому, еще более древнему, чем он, о ком, по причине слишком большой давности, до нас не дошло известий, – ответил мессер Федерико.

– В таком случае, – сказал граф, – кому, по-вашему, подражали Петрарка и Боккаччо, которые жили на свете, можно сказать, едва ли не вчера?

– Этого я не знаю, – ответил мессер Федерико. – Но можно думать, что и они склонялись к подражанию, – хоть нам и не

известно кому.

Граф заметил:

– Казалось бы, те, кому подражали, должны быть лучше тех, кто им подражал. Но если они были так хороши, то слишком странно, что их имена забылись и слава до конца угасла. Однако я думаю, что истинным наставником всякого писателя является талант, а также собственный природный ум, и в этом нет ничего удивительного, ибо почти всегда к вершине всякого совершенства можно восходить разными путями. Нет такой разновидности вещей, которая не заключала бы в себе множества вещей сродных, но при этом не сходных друг с другом – и, однако, достойных равной хвалы. Например, музыка: ее гармонии бывают то торжественны и неспешны, то необыкновенно быстры или непривычны по тональности и рисунку; однако все они доставляют удовольствие, хоть и по разным причинам. Это можно наблюдать по манере пения Бидоне{100}, столь искусной, чуткой, пылкой и мелодически разнообразной, что у всех, кто слушает, дух волнуется, пламенеет и приходит в такой восторг, что, кажется, воспаряет до небес. Не меньше волнует пение нашего Маркетто Кары{101}, но более мягкой гармонией; ибо тихим и полным жалобной нежности голосом он умиляет и

{100} Бидоне да Асти (?—?) – певец, впоследствии принятый в капеллу папы Льва X.

{101} Маркетто Кара (1465–1525) – певец, лютнист и композитор, особенно известный сочинениями в жанре фроттолы. Граф называет его «наш», поскольку Маркетто был, как и он сам, уроженцем Вероны.

пронизывает душу, мягко напечатлевая в ней некое сладостное томление. Различные вещи в равной мере приятны и нашему глазу, так что трудно бывает различить, какие из них ему более желанны. Например, в живописи наиболее превосходны Леонардо да Винчи, Мантенья, Рафаэль, Микеланджело, Джорджо да Кастельфранко{102}, а при этом все они по своей манере не похожи друг на друга; и не кажется, что в этой манере кому-то из них чего-то недостает, ибо каждый в своем стиле признается совершеннейшим. То же можно сказать и о многих греческих и латинских поэтах, различающихся в манере письма, но равных по славе. Также и ораторы имели между собой такое разнообразие, что почти каждый век произвел и возвеличил некий особенный вид ораторов, свойственный именно тому времени: они не были похожи не только на предшественников, но и друг на друга. Так, из греков нам известны Исократ{103}, Лисий{104}, Эсхин{105} и многие другие: все они были прекрасны, но каждый походил

{102} Джорджо Барбарелли да Кастельфранко (1478–1510) – живописец, более известный как Джорджоне.

{103} Исократ (436–338 гг. до н. э.) – афинский оратор, идеолог объединения Греции под «сильной рукой» и завоевательного похода на Восток, закономерно пришедший к промакедонской позиции.

{104} Лисий (445–380 гг. до н. э.) – афинский оратор. Не будучи афинянином по рождению (ему так и не удалось получить гражданские права), считался у древних образцовым классиком языка аттической прозы.

{105} Эсхин (389–314 гг. до н. э.) – афинский государственный деятель, оратор. Проведя более тридцати лет в изгнании, открыл ораторскую школу на Родосе.

только на себя. Из римлян – Карбон{106}, Лелий{107}, Сципион Африканский{108}, Гальба{109}, Сульпиций{110}, Котта{111}, Гракх{112}, Марк Антоний, Красс{113} и столько других, что

{106} Гай Папирий Карбон (ум. 119 г. до н. э.) – выходец из римского плебейского рода, политик и оратор, консул 120 г. до н. э. Союзник братьев Тиберия и Гая Гракха в их борьбе за аграрную реформу, впоследствии перешел на сторону их врагов.

{107} Гай Лелий Мудрый (188 – ок. 125 г. до н. э.) – политик, оратор и интеллектуал, консул 140 г. до н. э. Противник братьев Гракхов.

{108} Римская история знает трех Сципионов Африканских. Здесь имеется в виду Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший (185/184–129 гг. до н. э.) – приемный внук Сципиона Африканского Старшего, победителя во Второй Пунической войне. Полководец и политик, консул 147 и 134 гг. до н. э. Возглавил римскую армию в Третьей Пунической войне, взял и разрушил Карфаген (146 г. до н. э.). Вдохновитель влиятельного кружка аристократов – знатоков и любителей греческой культуры, получившего его имя.

{109} Гай Сульпиций Гальба (ок. 158 – после 109 г. до н. э.) – политик, член жреческой коллегии, оратор. Неудачно защищался от обвинений в заговоре и был осужден, но его защитительная речь, по свидетельству Цицерона, высоко ценилась как образец красноречия.

{110} Публий Сульпиций (124/123–88 гг. до н. э.) – политик, законодатель и оратор, народный трибун 88 г. до н. э. Убит во время террора Суллы.

{111} Гай Аврелий Котта (124 или 120 – 74 или 73 гг. до н. э.) – политик и оратор, консул 75 г. до н. э., участник многих резонансных судебных процессов своего времени.

{112} Вероятно, имеется в виду Гай Семпроний Гракх (154/153 – ок. 121 г. до н. э.) – младший из известных братьев Гракхов, народный трибун 123 и 122 гг. до н. э., Как оратор в диалогах Цицерона удостаивается высоких похвал.

{113} Марк Антоний, Луций Лициний Красс – см. о них примеч. 76 и 77. Список греческих и римских ораторов, названных графом Лудовико, полностью заимствован из диалога Цицерона «Брут, или О знаменитых ораторах».

долго перечислять: все прекрасные и все весьма различные между собой. Так что если бы кто мог рассмотреть всех ораторов, бывших на свете, нашел бы, что сколько ораторов, столько существует и видов ораторского искусства. Помнится, где-то у Цицерона Марк Антоний говорит Сульпицию, что много есть таких, которые, не подражая никому, однако, достигают высшей степени мастерства; и упоминает, что некоторые вводили новую форму или фигуру речи и она хоть и была красивой, но оставалась без употребления у других ораторов того времени, подражавших только самим себе {114}. Поэтому, утверждает он, наставники должны учитывать характер учеников и, руководствуясь этим, направлять их своей помощью на тот путь, к которому влечет их талант и природная склонность{115}.

Вот и я, дорогой мессер Федерико, думаю: если человек сам по себе не имеет сходств с каким-либо автором, не надо настраивать его на подражание этому автору; ибо сила его таланта угаснет, останется связанной, уведенная прочь с дороги, на которой он достиг бы многого, если бы ему ее не отсекли. И не знаю, хорошо ли, вместо того чтобы обогащать этот язык, придавая ему духа, величия и блеска, делать его бедным, слабым, убогим и темным, втискивая его в такую узость, чтобы любой был принужден подражать только Петрарке и Боккаччо и отнюдь не смел доверять в языке По-

{114} Ср.: Цицерон. Об ораторе. II, 23, 98.

{115} Там же. III, 9, 35.

лициано{116}, Лоренцо деи Медичи{117}, Франческо Дьяччето{118} и другим, которые тоже тосканцы и, возможно, не беднее ученостью и умом, чем Петрарка и Боккаччо. Поистине жалкое дело – проводя границу, не идти дальше того, что сделали едва ли не первые, обратившиеся к литературе, и отчаянно отрицать, что многие и столь замечательные таланты смогут найти другие прекрасные формы выражения на собственном природном языке.

Но теперь завелись какие-то придиры, которые запугивают тех, кто их слушает, будто какой-то религией и несказанными тайнами этого их тосканского наречия, вводя многих благородных и образованных людей в такой страх, что те не осмеливаются и рта раскрыть, признавая, что не умеют разговаривать на языке, которому еще в пеленках научились от своих кормилиц. Впрочем, мы об этом, кажется, уже слишком заговорились, так что давайте вернемся к рассуждению

{116} Анджело Полициано (наст. фам. Амброджини; 1454–1494) – поэт, филолог-гуманист и драматург. Придворный у Лоренцо Великолепного. Писал на вольгаре и латыни. Из его сочинений на вольгаре наиболее известны «Сказание об Орфее» и «Стансы на турнир».

{117} Лоренцо деи Медичи, по прозванию Великолепный (1449–1492) – глава Флорентийской республики в 1469–1492 гг. Продолжая политику отца, под видимостью сохранения республиканских институтов вплотную подвел режим своей власти к суверенной монархии. Прославленный покровитель наук и искусств. Известен также поэтическими сочинениями.

{118} Франческо Каттани да Дьяччето (1466–1522) – флорентийский философ-платоник, ученик Марсилио Фичино. В частности, разрабатывал теорию платонической любви.

о придворном.

XXXVIII

Мессер Федерико ответил:

– Я хотел бы прибавить разве что совсем немного: не отрицаю, что человеческие мнения и таланты различны, и не считаю правильным ни тому, кто от природы порывист и пылок, вдаваться в писание чего-то умиротворенного, ни тому, кто суров и серьезен, писать нечто развлекательное, так как мне кажется разумным, чтобы в этом каждый сообразовывался с собственной натурой. И именно это, думаю, имел в виду Цицерон, говоря, чтобы наставники учитывали природный характер учеников{119} и не поступали подобно неумелым земледельцам, которые порой на почве, благоприятной лишь для винограда, берутся сеять пшеницу. Но в мою голову не вмещается, почему в некотором отдельном языке, который не в такой степени свойственен всем людям, как речь вообще, как мысль и многие другие действия, но есть нечто созданное в определенных пределах, не более разумно подражать тем, кто говорит лучше, чем говорить как придется. Если в латыни надо стараться более следовать языку Вергилия и Цицерона, нежели Силия{120} или Корнелия Таци-

{119} Цицерон. Об ораторе. III, 9, 35.

{120} Тиберий Катий Асконий Силий Италик (25/26 – после 101 г. н. э.) – римский оратор и поэт, философ-стоик; административный деятель, консул 68 г. Ав-

та{121}, почему в народном языке не будет лучшим подражать языку Петрарки и Боккаччо, чем кого угодно другого? Разве нельзя на нем выражать свои оригинальные представления, в этом и следуя своему врожденному характеру, как учит Цицерон? Тогда и обнаружится, что различие, существующее, как вы говорили, между талантливыми ораторами, заключено в смысле их речей, но не в языке.

– Кажется, мы сейчас заплывем в слишком широкое море и совсем забросим наш первоначальный предмет – придворного, – сказал граф. – Но все-таки спрошу у вас: в чем именно состоит добротность языка?

– В том, чтобы хорошо соблюдать его свойства и передавать на нем надлежащий смысл, – отвечал мессер Федерико, – используя тот стиль и те приемы, что и лучшие писатели.

– Мне хотелось бы знать вот что, – сказал граф. – Этот стиль и эти приемы, о которых вы говорите, родятся из мыслей или из слов?

– Из слов, – ответил мессер Федерико.

– Стало быть, – сказал граф, – вы считаете, что слова Силия и Корнелия Тацита – не те же, что используют Вергилий и Цицерон, и не передают того же смысла, что у них?

тор большой поэмы о Второй Пунической войне.

{121} Публий Корнелий Тацит (сер. 50-х – ок. 120 г. н. э.) – римский историк и гражданский деятель, консул 97 г. Особенно известен крупными историческими сводами – «Историей» и «Анналами», а также первым по времени описанием Германии.

– Слова те же, – ответил мессер Федерико, – но подчас и используются небрежно, и смысл имеют другой.

– А если из книги Тацита или Силия убрать все слова, поставленные в ином значении, чем у Вергилия и Цицерона (а таких очень немного), вы скажете, что Тацит языком равен Цицерону, а Силий – Вергилию? И что правильно будет подражать их образу речи?

XXXIX

– Этот ваш спор, кажется, слишком затянулся и всем наскучил, – вмешалась синьора Эмилия. – Давайте-ка отложим его до другого раза.

И все-таки мессер Федерико еще пытался отвечать графу, но синьора Эмилия каждый раз его прерывала. Наконец граф сказал:

– Многие любят рассуждать о стилях, о ритмах и о подражании; но почему-то никто не может разъяснить мне ни что такое стиль и ритм, ни в чем заключается подражание, ни почему те вещи, что заимствованы из Гомера или откуда-то еще, у Вергилия так хорошо приходятся к месту, что чаще выглядят не подражанием, а украшением. Может быть, причина в том, что я не способен понять их. Но поскольку главный признак того, что человек в чем-то осведомлен, – его умение этому научить, я сомневаюсь, что и они сами хорошо разбираются в этом. А Вергилия с Цицероном восхва-

ляют лишь потому, что их все хвалят, а не потому, что понимают различие между ними и другими авторами; ибо оно заключается на самом деле не в том, что Вергилий и Цицерон употребляют два, три или десять слов не так, как другие. У Саллюстия{122}, у Цезаря{123}, у Варрона{124} и других хороших авторов некоторые слова используются в ином значении, чем у Цицерона; но удачно и то и другое, потому что не в таких пустяках состоит красота и сила языка, – как хорошо ответил Демосфен{125} Эсхину: когда тот язвительно вопросил о некоторых использованных Демосфеном неаттических словах: «Слова это или чудовища и уродцы?»{126}, Демосфен рассмеялся и сказал, что не от этого зависит благо Эллады{127}. Вот и мне мало горя, если какой-нибудь тосканец

{122} Гай Саллюстий Крисп (87/86 – ок. 35 г. до н. э.) – римский историк, чьи дошедшие до нас сочинения «О заговоре Катилины» и «О Югуртинской войне» ценятся и как образец литературного языка и стиля.

{123} Гай Юлий Цезарь (100–44 гг. до н. э.), кроме своей ведущей политической роли в переходе Рима от республики к монархии, проявил себя в своих «Записках о Галльской войне» и как мастер исторической прозы.

{124} Марк Теренций Варрон (116–27 гг. до н. э.) – ученый-энциклопедист и писатель, автор множества сочинений по различным отраслям знаний.

{125} Демосфен (384–322 гг. до н. э.) – знаменитый афинский оратор, непримиримый борец за независимость Афин от Македонии.

{126} Ср.: Эсхин. Против Ктесифонта о венке. 166: «Неужели вы не помните, каковы были мерзкие и непонятные его словечки, которые и выслушать-то нужно было иметь железные силы?.. Что это такое? словоблудие? слова или чудовища?» (пер. С. Ошерова и М. Гаспарова).

{127} Ср.: Демосфен. За Ктесифонта о венке. 309: «Конечно, Эсхин, будь это твое многоупражненное витийство непритворным и предназначенным на благо

упрекнет меня за то, что я говорю satisfatto, а не sodisfatto, onorevole, а не orrevole, causa вместо cagione, populo вместо popolo{128} и так далее.

Тогда мессер Федерико, привстав с места, сказал:

– Выслушайте, пожалуйста, еще несколько слов.

Синьора Эмилия с улыбкой ответила:

– Кара моей немилости падет на того из вас, кто сейчас будет продолжать разговор на эту тему; я повелеваю отложить его на следующий вечер. А вы, граф, продолжайте рассуждение о придворном – да покажите нам, что у вас хорошая память: сумейте снова начать с того места, где прервались.

XL

– Синьора, нить, кажется, оборвана, – ответил граф. – Но если не ошибаюсь, мы говорили о том, что высшая непривлекательность происходит от пагубной нарочитости, а, напротив, величайшее изящество – от простоты и непринужденности. В похвалу этой непринужденности и в порицание нарочитости можно сказать и много другого; но я ограничусь

отечества, от него произошли бы прекрасные и славные и для всех прибыльные плоды – союзы между городами, прибавление достатка, устроение торговли, полезное законодательство, разоблачение и одоление врагов» (пер. Е. Рабинович). Обе речи, Эсхина и Демосфена, были известны читателям эпохи в латинском переводе Цицерона.

{128} Граф последовательно отстаивает более близкие к латыни варианты слов «удовлетворенный», «досточтимый», «причина» и «народ».

только одним. Всем женщинам свойственно большое желание быть – а если невозможно быть, то по крайней мере казаться – красивыми; и там, где чего-то недостает от природы, они стремятся восполнить недостаток искусственным образом. Отсюда происходит стремление прихорашивать лицо с великим старанием и трудами, выщипывать брови и волосы на лбу и применять все те хитрости и терпеть все те неудобства, которые вы, женщины, считаете скрытыми от мужчин, и однако о них все знают.

Мадонна Констанца Фрегозо, смеясь, сказала на это:

– С вашей стороны, граф, было бы любезнее продолжать ваше рассуждение о том, откуда берется изящество, и рассказывать о придворном искусстве, чем не к месту разоблачать женские недостатки.

– Нет, очень даже к месту, – отвечал граф. – Потому что эти ваши недостатки, о которых я говорю, лишают вас изящества; потому что происходят они не от чего другого, как от нарочитости, которая обнаруживает перед каждым ваше неумеренное желание быть красивыми. Вам и не приходит на ум, насколько более изящна женщина, которая, даже прихорашиваясь, делает это так умеренно, так незаметно, что смотрящий на нее не понимает, прихорошилась она или нет, – нежели другая, набеленная до того, что кажется, будто маску на лицо надела: она боится и улыбнуться, чтобы вся эта штукатурка не треснула. Она и цветом лица меняется разве что во время утреннего туалета, а потом весь

день остается неподвижна, как деревянная статуя, показываясь лишь при свете свечей или же, подобно тому как показывают пронырливые торговцы свои ткани, в темном месте?{129} Насколько больше нравится та, скажем, не безобразная женщина, о которой точно знаешь, что у нее ничего не наложено на лице, пусть она не так бела и румяна, но по своему природному цвету чуть бледновата, а иногда от стыдливости или по другому какому случаю покрывается естественным румянцем; и волосы у нее уложены бесхитростно, и повадки просты и естественны, и весь облик не выказывает ни ухищрений, ни погони за красотой. Вот она – природная чистота, какой более всего желает душа мужчины, который всегда опасается быть обманутым ухищрениями искусства. Очень нравятся в женщине красивые зубы, ибо, поскольку они не всегда на виду, но бóльшую часть времени скрыты, можно думать, что к ним не столько приложено старания приукрасить их, как к лицу. Но та, которая смеется кстати и некстати, только лишь бы показать их, выдает искусственность и, даже если они у нее красивы, всем кажется неприятной, подобно Эгнацию у Катулла{130}. Так же и руки; если они нежны и

{129} Ср. старинную итальянскую пословицу, восходящую к Овидию (Искусство любви, I, 251–252): «Né donna né tela a lume di candela» («Ни женщину, ни ткань [не выбирай] при свете свечи»).

{130} Гай Валерий Катулл (ок. 87 – ок. 54 г. до н. э.) – римский поэт, известный в особенности любовными стихами и язвительными эпиграммами. Некоего Эгнация, некстати смеявшегося только для того, чтобы покрасоваться белизной зубов, Катулл вышучивает в своих эпиграммах 37 и 39.

красивы и женщина обнажает их по временам для прилучившегося дела, а не с целью показать их красоту, то обладают сильнейшей притягательностью, даже будучи обычно скрыты перчатками; ибо представляется, что скрывающая их не слишком заботится о том, видны они или нет, а красивы эти руки больше от природы, чем от какого-то старания. Разве подчас не глядели вы, господа, во все глаза, когда женщина, идя в церковь или еще куда-то, или в игре, или по другой какой причине, так приподнимет платье, что невольно покажет стопу или даже щиколотку? Разве не в высшей степени изящной кажется вам эта ножка, стройная, женственная, обхваченная бархатными тесемками, в чистых чулочках? Конечно, она весьма привлечет и меня, и, полагаю, любого из вас. Ибо всякий рассудит, что забота об изяществе той части тела, которая обычно скрыта и бывает видна крайне редко, для этой женщины является скорее естественной, нежели умышленной, и что она и не думала добиться этим какой-либо похвалы.

XLI

Вот как нужно гнать от себя нарочитость, о которой вы теперь можете составить представление, насколько она нежелательна, ибо лишает изящества любое движение как тела, так и души. О душе мы говорили до сих пор мало, но этого не следует так оставлять: ибо насколько душа достоинством вы-

ше тела, настолько большего заслуживает попечения и украшения.

Держась избранного предмета, поговорим, что в этом отношении должно делать нашему придворному. И, оставив в стороне наставления многих мудрых философов, которые пишут на эту тему, определяя, в чем состоят добродетели души, и подробно рассуждая об их достоинстве, скажем кратко: достаточно, чтобы он был человеком, как говорится, добрым и честным, ибо под этим понимаются и осмотрительность, и добрый нрав, и твердость духа, и умеренность, и все другие качества, соответствующие этому столь почетному наименованию. И я считаю настоящим нравственным философом только такого, кто хочет быть добр. И чья воля к этому устремлена, тот мало нуждается в иных советах. Хорошо говорил Сократ, что он считает свои наставления приносящими добрый плод уже тогда, когда в каком-либо человеке возникнет желание познать, что такое добродетель, и научиться ей{131}. Ибо твердо осознавшие в себе желание быть прежде всего добрыми легко обучаются всему, что для этого нужно. Так что рассуждать об этом мы больше не будем.

{131} Буквально такого утверждения в сохранившихся свидетельствах об учении Сократа нам найти не удалось. Но в целом оно соответствует интерпретации, данной наставлениям Сократа у Ксенофонта в «Воспоминаниях о Сократе». В диалогах Платона, напротив, от лица Сократа проводится мысль, что добродетели нельзя обучиться, но она дается как божественный дар, который человек может развить через припоминание (такова главная мысль, например, диалога «Менон»).

XLII

Но, кроме добронравия, истинным и первостепенным украшением души в каждом человеке я считаю образованность, пусть французы и признают только военную доблесть, а все прочее не ставят ни в грош, – и не только не ценят занятия науками, но и гнушаются ими, считая образованных за самый презренный люд. У них, кажется, тяжким оскорблением считается, когда кого-то назовут «писакой».

– Да, вы правы, – отозвался Джулиано Маньифико, – такое заблуждение издавна господствует среди французов. Но если судьбе будет угодно, чтобы монсиньор принц Ангулемский{132}, во исполнение общих надежд, унаследовал корону, предполагаю, что как цветет и блистает во Франции военная слава, так, и в еще большей красоте, процветет там и слава наук. Не так давно, находясь при французском дворе, я видел этого государя: кроме того, что он красиво и соразмерно сложен, он, по моему впечатлению, имеет в облике столько величия, соединенного, впрочем, с некой утонченной человечностью, что обладать одним французским королевством ему будет всегда казаться недостаточным. Позднее от мно-

{132} Будущий (с 1515) король Франциск I. Хорошо владея итальянским, прочел «Придворного» еще в ранней рукописной редакции 1513 г. и с большой похвалой отзывался о нем. У Кастильоне была даже мысль посвятить ему книгу, впоследствии им оставленная.

гих благородных людей, французов и итальянцев, я достаточно слышал о его благороднейших нравах, о величии его души, о мужестве и щедрости; и среди прочего мне говорили, что он, в высшей степени любя и ценя образование, относится с большим уважением ко всем образованным людям и порицает своих французов за то, что они столь этому чужды, имея у себя дома такой знаменитый университет, как Парижский, куда стекаются люди со всего света.

– Весьма удивительно, – заметил граф, – что в таком юном возрасте, по одному лишь природному расположению, вопреки привычкам своей страны, он самостоятельно обратился на столь добрый путь. И поскольку подданные всегда следуют обычаям властителей, может статься, французы, как вы говорите, еще и оценят образованность по достоинству, в чем их можно будет, если они захотят послушать, легко убедить; ибо по самой природе людям ничто не желательно так, как знание{133}. И великое безумие – говорить и думать, будто оно не во всех случаях хорошо.

XLIII

Доведись мне говорить с ними или с другими, имеющи-

{133} Ср.: Цицерон. Об обязанностях. I, 6, 18: «Ведь всех нас влечет к себе и ведет горячее желание познавать и изучать, и мы находим прекрасным превосходить других на этом поприще. Напротив, ошибаться, заблуждаться, не знать, обманываться, как мы говорим, дурно и позорно».

ми мнение, противоположное моему, я постарался бы показать им, насколько науки, поистине данные людям Богом как высший дар, полезны и необходимы для нашей жизни и нашего достоинства. И у меня не было бы недостатка в примерах многих выдающихся военачальников древности, которые соединяли украшение образованности с воинской доблестью. Ведь, как вам известно, Александр настолько почитал Гомера, что всегда держал «Илиаду» у своего изголовья, и не только ее изучением, но и философскими умозрениями занимался с величайшим усердием под руководством Аристотеля. Алкивиад лучшие из своих качеств возрастил и развил, следуя наставлениям Сократа. Какие труды приложил к учению Цезарь, о том свидетельствуют поистине божественно написанные им вещи. О Сципионе Африканском передают, что он не выпускал из рук книги Ксенофонта, где тот под именем Кира воспитывает некоего совершенного царя{134}. Мог бы я сказать вам и о Лукулле{135}, о Сулле{136}, о Пом-

---

{134} Ксенофонт (ок. 430 – не ранее 356 г. до н. э.) – древнегреческий писатель, историк и политик. В молодости ученик Сократа. В 401 г. до н. э. поступил на службу к персидскому принцу Киру Младшему, боровшемуся за престол; превратности, испытанные в Персии им и другими греческими наемниками после гибели Кира, описаны им в книге «Анабасис». «Киропедия» («Воспитание Кира») – еще одно значительное произведение Ксенофонта, о котором см. примеч. 15.

{135} Луций Лициний Лукулл (117–56 гг. до н. э.) – римский политический деятель и полководец, особенно ярко проявивший себя во время Третьей Митридатовой войны (74–63 г. до н. э.). Консул 74 г. до н. э.

{136} Луций Корнелий Сулла (138–78 гг. до н. э.) – римский военачальник и

пее[137], о Бруте[138] и многих других римлянах и греках; но напомню только, что Ганнибал, превосходнейший полководец, хотя от природы жестокий и чуждый всякой человечности, вероломный, презиравший и людей, и богов, не был, однако, несведущ в науках и в греческом языке. И если мне не изменяет память, я читал, что он оставил даже после себя написанную им на греческом книгу[139]. Но говорить об этом

государственный деятель. Занимая командные посты в ходе Союзнической (91–88 гг. до н. э.) и Первой и Второй Митридатовых войн (89–85 и 83–81 гг. до н. э.), начал борьбу за захват власти в Римской республике (гражданская война 83–82 гг. до н. э.). В 82 г. до н. э. установил в Риме собственную диктатуру и организовал массовые убийства политических противников.

[137] Гней Помпей Магн (106–48 гг. до н. э.) – римский военачальник и государственный деятель. Участник гражданской войны 83–82 гг., затем командующий армией республики в Серториевой (82–72 гг. до н. э.) и в Третьей Митридатовой войне. В 60 г. до н. э. стал членом триумвирата, вместе с Крассом и Цезарем. После его распада противостоял партии Цезаря в гражданской войне 49–45 гг. до н. э., в ходе которой был убит.

[138] Марк Юний Брут (85–42 гг. до н. э.) – римский политический деятель, военачальник и оратор, главный герой трактата Цицерона «Брут, или О знаменитых ораторах», который Кастильоне активно использует в своем сочинении. Участник гражданской войны 49–45 гг. до н. э. сначала на стороне Помпея, потом на стороне Цезаря. В 44 г. до н. э. возглавил заговор против Цезаря, который кончился убийством последнего. В ходе начавшейся после убийства гражданской войны был разгромлен и убит.

[139] Ганнибал (247–183 гг. до н. э.) – карфагенский военачальник, главнокомандующий армии Карфагена во Второй Пунической войне (218–201 гг. до н. э.). Ср.: Корнелий Непот. Ганнибал. С. 13: «…Этот великий муж, обремененный великими военными предприятиями, не жалел времени на ученые занятия, ибо после него осталось несколько сочинений на греческом языке» (пер. Н. Трухиной). Отрицательную часть характеристики Ганнибала Кастильоне заимствует у

вам – излишне, ибо вы все, конечно, понимаете, как заблуждаются французы, полагая, будто науки вредят военному делу. Вам известно, что на войне истинным стимулом в великих и опасных делах является слава; а тот, кем движет в таких делах заработок или что-то подобное, достоин называться не рыцарем, но презренным наемником. А что истинная слава – та, которая вкладывается в священную сокровищницу наук, понятно любому, кроме тех злополучных, которые от них не вкусили. Чей дух столь робок, боязлив и покорен, что при чтении о подвигах и о величии Цезаря, Александра, Сципиона, Ганнибала и многих других не воспламенится горячим желанием уподобиться им и не отдаст эту бренную мимолетную жизнь, чтобы обрести ту славную и почти вечную, которая, вопреки смерти, даст ему жить куда более ярко, чем первая? Но кто не чувствует сладости наук, тот, еще не зная, каково величие той славы, которую они сохраняют в веках, измеряет славу лишь простым человеческим веком, от силы двумя, ибо не может сохранить памяти на более долгий срок. А эту кратковременную славу не ценит так, как ценил бы ту, почти вечную, не будь ему, к несчастью, отказано в ее знании. Коль скоро же он не ценит ее настолько, то понятно, что и не так будет подвергать себя опасностям, желая ее стяжать, как тот, кто о ней знает. Но мне, конечно, будет непри-

---

Тита Ливия (XXI, 4). Другие древние историки, оценивая его в целом куда более доброжелательно, упоминают, однако, и случаи проявления им жестокости: например, приказ убивать всех взрослых, отданный при взятии Сагунта в Испании.

ятно, если кто-то из имеющих иное мнение, опровергая мое, укажет мне противоположные последствия на примере итальянцев, которые, имея познания в науках, выказали в последнее время мало доблести на поле брани. Это, к сожалению, более чем правда. И можно сказать, что вина немногих не только нанесла тяжкий урон, но и надолго запятнала позором всех остальных, что явилось истинной причиной и наших поражений, и того, что доблесть в наших душах пала, если не вовсе умерла; но разносить молву об этом для нас будет еще постыднее, чем для французов – не знать наук. Поэтому лучше обойти молчанием то, о чем нельзя вспомнить без скорби, и, оставив эту тему, в обсуждение которой я вошел против воли, вернуться к нашему придворному.

XLIV

Итак, пусть наш придворный имеет незаурядные познания в науках – во всяком случае, в тех, которые называются гуманитарными; и знает не только латынь, но и греческий, ради многих и разнообразных творений, на нем столь божественно написанных. Пусть он хорошо разбирается в поэтах и не хуже – в ораторах и историках, да и сам имеет опыт сочинения стихов и прозы, особенно на нашем народном языке, ибо, кроме собственного удовольствия, у него не будет недостатка в приятных беседах с дамами, которым обычно нравятся такие вещи. Если же по причине занятости други-

ми делами или недостаточного усердия он не достигнет того, чтобы его сочинения удостоились больших похвал, пусть осмотрительно скрывает их, чтобы не подвергать себя насмешкам, и показывает их разве что верному другу. И тогда они послужат ему хотя бы тем, что собственный опыт сочинительства научит его судить о сочинениях других; ибо, по правде говоря, кто не приучен писать, как бы он ни был начитан, редко может вполне постичь труды и старания писателей, насладиться прелестью и совершенством стилей и теми сокровенными тонкостями, какие мы часто находим у древних.

Кроме того, эти занятия сделают его красноречивым и, как ответил Аристипп тому тирану, способным смело и уверенно говорить с любым человеком[140].

Я, впрочем, за то, чтобы придворный взял себе за твердое правило: и в разговоре, и во всем остальном всегда быть осторожным и держать себя скорее скромно, нежели дерзновенно, остерегаясь ложно приписывать себе знание того, в чем он не разбирается. Ибо от природы все мы куда больше, чем нужно, жадны до похвал, и мелодия хвалебных слов нашим ушам приятнее любого сладостного пения или музыки.

---

[140] Аристипп (ок. 435 – ок. 355 г. до н. э.) – философ, ученик Сократа, основатель киренской философской школы, известный проповедью гедонизма. Кастильоне здесь цитирует Диогена Лаэрция, который рассказывает о жизни Аристиппа при дворе тирана Сиракуз Дионисия Старшего, не утверждая, впрочем, что эти слова сказаны именно ему (О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II, 8, 68).

И слова эти, подобно голосам сирен, часто бывают причиной потопления для того, кто не затыкает старательно ушей, чтобы не слышать этой обманчивой гармонии. Сознавая эту опасность, нашелся среди древних мудрецов один, который написал, каким образом можно отличить истинного друга от льстеца{141}. Но что толку, если не то что много, но без числа людей, которые прекрасно понимают, что им льстят, и тем не менее любят льстецов и ненавидят тех, кто говорит им правду? И даже подчас, когда им кажется, что льстящий слишком скуп в речах, сами помогают ему, говоря о себе самих такое, что устыдился бы сказать и самый бессовестный льстец.

Оставим этих слепцов в их заблуждении; пусть наш придворный обладает настолько верным суждением, чтобы не дать убедить себя, будто черное – это белое, и не предполагать в себе большего, чем то, о чем он знает точно, что оно – правда. (Особенно это касается вещей, о которых, если помните, вспоминал мессер Чезаре, предлагая свой род игры, как об инструментах, с помощью которых мы не раз выводили наружу мании многих людей.) И чтобы избежать ошибки, если даже он знает, что высказанные ему похвалы правдивы, пусть не соглашается с ними открыто и не поддакивает им; но со скромностью почти их отрицает, всегда показывая в словах и в делах, что его главное призвание – военное дело, а все остальные добрые качества – лишь украшение к этому. Особенно же перед солдатами пусть не дер-

{141} Плутарх в трактате «Как отличить друга от льстеца».

жит себя подобно тем, которые в ученом собрании хотят казаться завзятыми вояками, а перед вояками изображают из себя ученых.

Так, по силе уже высказанных соображений, он избежит всякой нарочитости, а дела, которые он делает, даже вполне заурядные, будут выглядеть очень внушительно.

XLV

В этот момент в разговор вступил мессер Пьетро Бембо:

– Непонятно мне, граф, как это вы хотите, чтобы ваш придворный, со своим образованием и множеством других замечательных качеств, считал все это украшениями для военного дела, а не военное дело и все прочее украшением для учености, которая даже и без прибавления чего-либо другого настолько выше достоинством, чем военное дело, насколько душа выше тела, – ибо военное дело относится к телу, а ученость – к душе.

– Нет, – ответил граф. – Военное дело относится и к телу, и к душе. Но я не хочу, чтобы вы, мессер Пьетро, были судьей в этом деле, так как вас слишком легко заподозрить в пристрастности, а поскольку эта тема уже долго обсуждалась весьма мудрыми людьми, нет нужды возобновлять спор. Я считаю его решенным в пользу военного дела и хочу, чтобы наш придворный (если уж я могу заниматься его образованием по своему вкусу) считал так же. А если вы держи-

тесь противоположного мнения, то давайте подождем, пока объявят такое состязание, – в котором те, кто стоит за первенство военного дела, смогут защищать его оружием, а те, кто за первенство наук, – науками же и защищаться. И когда каждая из сторон воспользуется своими орудиями, сами увидите, что ученые проиграют.

– Вот как! – отозвался мессер Пьетро. – Вы только что порицали французов за то, что они мало уважают ученые занятия, говоря, сколь великий блеск славы эти занятия сулят людям и как делают их причастниками бессмертия, а теперь словно переменили свое мнение. Вы позабыли, что

> Ахилла гробу храброго представший,
> Сказал со вздохом македонский царь:
> «Ты счастлив, звучную трубу стяжавший —
> Стихи столь вдохновенного певца!»{142}

Из того, что Александр позавидовал Ахиллу не в его подвигах, а в счастье быть воспетым стихами Гомера, можно

{142} Петрарка. Канцоньере. Сонет 187 (пер. мой. – П. Е.). Петрарка пользуется свидетельством, сохраненным у Цицерона (Речь за Архия. X, 24): «Сколь многочисленных повествователей о своих подвигах имел при себе, как говорит предание, великий Александр! И все же он, остановившись в Сигее перед могилой Ахилла, сказал: „О, счастливый юноша, ты, который нашел в лице Гомера глашатая свой доблести!“» (пер. В. Горенштейна). По поводу этого сонета пишет Лоренцо Великолепный в одном из своих писем: «Если б не был Гомер божественным поэтом, та же могильная плита, что покрыла тело Ахилла, скрыла бы и его славу».

понять, что творения Гомера он ставил выше меча Ахилла. И какой другой вам нужен судья или какое другое решение о достоинстве оружия и наук, чем высказанное одним из величайших полководцев в истории?

XLVI

Граф отвечал:

– Я порицаю французов за их мнение, будто образованность вредит военному делу, и полагаю, что быть образованным военному человеку нужно более, чем кому-либо другому; и хочу, чтобы в нашем придворном присутствовали оба этих качества во взаимной связи и взаимопомощи, что я считаю в высшей степени нужным, и потому не нахожу, будто в чем-то переменил свое мнение. Но, повторяю, не хочу спорить о том, какое из этих качеств более достойно похвалы. Достаточно сказать, что писатели почти всегда берутся восхвалять людей великих и дела славные, заслуживающие восхваления сами по себе, по причине той существенной доблести, из которой они проистекают; кроме того, эти дела предоставляют писателям благороднейший материал, который и украшает, и отчасти сам увековечивает их творения. Ведь не будь их предмет знаменитым, их не так охотно читали бы и не так высоко ценили, а сочли бы пустыми и незначительными. И если Александр позавидовал Ахиллу в том, что он был прославлен Гомером, это не значит, будто Александр це-

нил образованность выше, чем военное дело. Если бы в военной доблести он сознавал себя настолько же уступающим Ахиллу, насколько, по его мнению, ниже Гомера все те, которым предстояло написать о нем самом, то, я уверен, он больше желал бы самому себе совершить великое, нежели другим – великое написать. Из чего делаю вывод, что в его словах скрыта похвала себе самому и пожелание иметь то, чего, как ему казалось, у него не было: поэта, который превосходно опишет его подвиги, а не то, чем он уже, по собственному мнению, обладал, – то есть воинской доблести, в чем он не считал себя уступающим Ахиллу. Потому и назвал он его счастливым{143}, как бы намекая на то, что, если его, Александра, слава не была возвещена миру столь звучно и широко, как Ахиллова, – причина не в том, будто его доблесть и подвиги меньше и не заслуживают такой славы, но лишь в фортуне, даровавшей Ахиллу это чудо природы{144} как славную трубу его деяний. А может, он хотел и побудить какой-нибудь благородный талант написать о нем, показывая, что будет ему за это столь же благодарен, сколь любит и чтит священные памятники письменности. Но об этом уже, пожалуй, довольно сказано.

– Даже слишком, – вставил слово синьор Лудовико Пио. – Ибо, кажется, в целом мире не найти такого большого сосу-

---

{143} У Петрарки fortunato, как и у Цицерона – fortunatus, т. е. буквально: «удачливый».

{144} Т. е. Гомера.

да, какой способен вместить все, что вы хотите видеть в этом придворном.

– Не торопитесь, – сказал граф. – Ему еще много чего понадобится.

Мессер Пьетро да Наполи живо отозвался:

– В таком случае Толстяк Медичи будет иметь большое преимущество перед мессером Пьетро Бембо![145]

XLVII

Все рассмеялись.

– Господа, – вновь возвращаясь к прерванному разговору, сказал граф, – знайте, однако, что я не буду доволен своим придворным, если он не разбирается в музыке и, кроме того, что хорошо читает ноты, не играет еще на разных инструментах. Ведь, если подумать, для отдыха от трудов и целения недугов души не сыскать более благородного вида досуга, чем музыка; и особенно при дворах, где не только музыкой прогоняют скуку, но и делают многое, чтобы доста-

[145] Имеется в виду Андреа д'Аламанно деи Медичи, камергер двора Джулиано Медичи, прозванный, сообразно своей комплекции, Grasso (толстый, жирный). Едва ли не единственное упоминание его в исторических источниках эпохи связано с тем, что во время войны Джулиано за возвращение власти над Флоренцией (1512) он отлично справился с продовольственным обеспечением его войска. Мессер Пьетро в шутку превозносит этого человека, по всей видимости не отличавшегося высокими культурными запросами, над малорослым и худым Бембо – блестящим писателем и эрудитом.

вить удовольствие женщинам, в души которых, нежные и податливые, легко проникает гармония, наполняя их умилением. И не дивно, что и в древности, и теперь они были благосклонны к музыкантам, находя в их искусстве желаннейшую пищу для души.

– Что касается музыки, я согласен, – сказал синьор Гаспаро, – что, как и многие другие пустяки, она подходит женщинам, – а может быть, и еще кой-кому, кто имеет лишь внешнее сходство с мужчиной, но не мужчинам настоящим, которым не подобает разнеживать свои души подобными развлечениями, чтобы не приучить себя таким образом к боязни смерти.

– Не говорите так, – отвечал граф, – ибо я увлеку вас в обширное море похвал музыке и напомню, насколько древние прославляли ее, считая делом священным. И даже, по мнению мудрейших из философов, мир составлен музыкой, и небеса в своем движении создают гармонию, и по тому же принципу образована наша душа, а поэтому музыка служит еще и пробуждению, и как бы оживлению ее добродетелей. Пишут ведь об Александре, что его подчас так возбуждала музыка, что словно против воли он чувствовал необходимость подняться от пира и поспешить к оружию; а потом, когда музыкант переменял тон мелодии, успокаивался и возвращался от оружия к пиру{146}. Скажу вам и о строгом Со-

{146} Об этом упоминает в одной из своих речей оратор Дион Хризостом (I в. н. э.). Плутарх также пишет, что Александр питал уважение к «музыке как искус-

крате, который, будучи уже весьма стар, выучился играть на лире{147}. Помнится, я некогда слышал, что и Платон, и Аристотель полагают, что хорошо обученный муж должен быть также и музыкантом, бесчисленными доводами доказывая, что музыка имеет для нас великую силу, и что по множеству причин, которые сейчас долго было бы перечислять, изучать ее надо с самого детства{148}. Не столько ради той внешней мелодии, которую мы слышим ушами, сколько ради того, что музыка может внедрить в нас новый благой обычай и нрав, склонный к добродетели, делающий душу более способной к счастью, как телесные упражнения делают тело более крепким. И она не только не вредит, но в высшей степени приносит пользу в делах гражданских и военных. Даже Ликург одобрил музыку в своих суровых законах{149}. И мы чита-

---

ству, вселяющему воинскую доблесть и воодушевляющему тех, кто в нем должным образом воспитан» (О судьбе и доблестях Александра. II, 2).

{147} Об этом от лица самого Сократа в диалоге «Евтидем» (272c) рассказывает Платон, а за ним повторяют и другие античные писатели (Валерий Максим, Квинтилиан, Лукиан, Стобей и др.).

{148} Например: Платон. Государство. III, 398b–403c; Аристотель. Политика. 1268b, 1279a, 1338a – b, 1339a.

{149} Ср.: Плутарх. Ликург. XXI: «Терпандр и Пиндар были правы, находя связь между мужеством и музыкой. Первый говорит о лакедемонянах так: „Юность здесь пышно цветет, царит здесь звонкая Муза, / Правда повсюду живет…“ А Пиндар восклицает: „Там старейшин советы; / Копья юных мужей в славный вступают бой, / Там хороводы ведут Муза и Красота“. И тот и другой изображают спартанцев одновременно и самым музыкальным, и самым воинственным народом. „Кифары звук мечу не станет уступать“, – сказал спартанский поэт. Недаром перед битвой царь приносил жертву музам для того, мне кажется, чтобы воины…

ем, что и воинственные лакедемоняне, и критяне использовали в битвах лиры и другие инструменты мелодичного звучания, а многие лучшие полководцы древности, как, например, Эпаминонд, и сами играли на музыкальных инструментах, а те, которые этого не умели, как Фемистокл, были в гораздо меньшем почете{150}.

А разве не читали вы, что музыка была среди первых предметов, которым учил Ахилла в его нежном возрасте добрый старец Хирон? И что угодно было мудрому наставнику, чтобы руки, которым предстояло пролить столько троянской крови, часто были заняты игрой на лире?{151} Покажете мне воина, который устыдится подражать Ахиллу, если даже оставить в стороне множество других славных полководцев, которых я мог бы привести в пример? Так что не лишайте нашего придворного музыки, которая не только человеческие души услаждает, но часто и зверей делает послуш-

---

смело шли навстречу опасности и совершали подвиги, достойные сохраниться в речах и песнях».

{150} 15Ср.: Цицерон: Тускуланские беседы. I, 2, 4. Эпаминонд (ок. 410–362 г. до н. э.) – греческий полководец, демократический правитель Фив, глава Беотийского союза. Годы его правления стали для Фив эпохой наибольшего расцвета и могущества. Фемистокл (529–459 гг. до н. э.) – афинский государственный деятель, вождь демократической партии. Создатель афинского военного флота, который под его же руководством одержал при Саламине сокрушительную победу над флотом персов (480 г. до н. э.). В 471 г. до н. э. происками политических противников изгнан из Афин и был вынужден искать покровительства у вчерашних врагов – персов.

{151} Псевдо-Плутарх. О музыке. 42.

ными; а кто не может ее терпеть, тот явно носит раздор в собственной душе. Музыка заставила рыбу понести на себе человека через бурное море{152} – вот сколь она сильна!

Все мы свидетели того, как она исполняется во святых храмах для восхваления и благодарения Бога, и можно поверить, что она в самом деле угодна Ему, и Он даровал ее нам как сладчайшее облегчение наших трудов и беспокойств. Поэтому часто поселяне, работая в поле под палящим солнцем, грубым и неухищренным пением разгоняют скуку. Пением одолевает сон и скрашивает труд простая крестьянская девушка, еще до света вставая прясть или ткать. Пение – веселая утеха бедолагам-морякам после ливней, ветров и бурь. Пением утешаются усталые путники в утомительных и долгих странствиях, и даже удрученные узники в своих цепях и колодках. Но, кажется, для наилучшего свидетельства о том, что в мелодичном напеве, пусть даже в самом простом, человек находит величайшее облегчение в любых трудах и тяготах, природа научила ему кормилиц как первому средству унимать плач младенцев: под звуки такого напева они спокойно и мирно засыпают, забывая о столь привычных для

{152} Рассказ Геродота о лесбосском певце Арионе, спасшемся от гибели в открытом море на спине дельфина (История. I, 24), с разными вариациями повторена у нескольких авторов римской эпохи (Овидий, Плиний Старший, Плутарх, Авл Геллий, Лукиан и др.). Если у Геродота Ариона спасает Аполлон, внявший воспетому им священному гимну, то Овидий приписывает чудо божественной силе искусства самого певца (Фасты. II, 79–118). Кажется, Кастильоне опирается на версию Овидия.

них слезах, которые природа в этом возрасте дает нам как предвестие всего ожидающего нас в этой жизни.

XLVIII

В этот момент, воспользовавшись тем, что граф сделал некоторую паузу, заговорил Джулиано Маньифико:

– Я совершенно не согласен с мнением синьора Гаспаро; и как в силу доводов, приведенных вами, так и по многим другим считаю музыку для придворного не только украшением, но необходимостью. И просил бы вас разъяснить, как, в какое время, каким образом должно приводить в действие это и другие достоинства, которые вы ей приписываете; ибо многие вещи, сами по себе похвальные, бывают подчас нелепы, когда применяются не ко времени, и, в свою очередь, некоторые, кажущиеся маловажными, при удачном использовании обретают немалую ценность.

XLIX

– Прежде чем обратиться к этому предмету, – ответил граф, – я хотел бы поговорить о другой вещи, которую считаю очень важной, и поэтому, думаю, наш придворный ни в коем случае не должен оставлять ее без внимания: об умении рисовать и разбираться в само́м искусстве живописи. Не

удивляйтесь, что я призываю к этому занятию, которое сегодня, может быть, покажется механическим ремеслом, мало подходящим для благородного человека. Помню, я читал, что в древности, прежде всего по всей Греции, полагали, что дети благородных родителей в школах должны заниматься живописью как делом достойным и необходимым, числя ее первой ступенью свободных искусств{153}; более того, государственным постановлением прямо запрещалось обучать ей рабов{154}. У римлян она тоже была в величайшей чести; и именно от нее вело родовое прозвище благороднейшее семейство Фабиев, так как первый из Фабиев звался Пиктором, по причине того, что в самом деле был превосходным художником. Он до такой степени был предан живописи, что, расписав стены храма Спасения, поставил свое имя, сочтя, что он, рожденный в столь славной семье, заслужившей консульские звания, триумфы и другие почести, образованный, сведущий в законах и стоящий в ряду ораторов, может еще более увеличить блеск своей славы, оставив о се-

---

{153} Ср. у Аристотеля в «Политике»: «Обычными предметами обучения являются четыре: грамматика, гимнастика, музыка и иногда рисование» (VIII, 1337b). И далее: «…[рисование] изучают скорее потому, что оно развивает глаз при определении телесной красоты. Вообще, искать повсюду лишь одной пользы всего менее приличествует людям высоких душевных качеств и свободнорожденным» (1338a).

{154} Это утверждает Плиний Старший в «Естественной истории» (XXXV, 36, 77).

бе память, что был живописцем{155}. Также и многие другие выходцы из известных фамилий стяжали себе славу в этом искусстве, от которого, кроме того, что оно благородно и почетно само по себе, происходит и немалая польза, особенно на войне: я говорю об изображении стран, местностей, рек, мостов, утесов, крепостей и тому подобных вещей, которые, даже если хорошо сохранить их в памяти (что, впрочем, достаточно трудно), нельзя показать другому.

И кто не ценит это искусство, поистине, кажется мне чуждым здравого разумения; ибо созерцаемый нами механизм Вселенной, с необъятным небом, озаренным яркими звездами, а в центре его – Земля, опоясанная морями, испещренная горами, долинами и реками, украшенная столь разнообразными деревами, прелестными цветами и травами, – все это можно назвать прекрасной и огромной картиной, сотворенной дланью природы и Бога. Тот, кто может подражать ей, кажется мне достойным великой похвалы; а достичь такой способности невозможно без постижения многих вещей, что хорошо знает любой, кто пробовал заниматься этим на

{155} Ср.: Плиний. Указ. соч. XXXV, 7, 19. Речь идет о Гае Фабии Пикторе (ум. после 304 г. до н. э.), расписавшем храм Спасения, построенный на Квиринале в память победы Рима над самнитами. Цицерон, напротив, решительно отрицает, что занятие живописью имело у римлян общественный престиж: «Если бы Фабий, один из знатнейших римлян, удостоился хвалы за свое живописание, то можно ли сомневаться, что и у нас явился бы не один Поликлет и Паррасий? Почет питает искусства, слава воспламеняет всякого к занятию ими, а что у кого не в чести, то всегда влачит жалкое существование» (Тускуланские беседы. I, 2, 4 / Пер. М. Гаспарова).

деле. Поэтому древние высоко чтили как искусство, так и художников, отчего оно и достигло великих вершин; ясным свидетельством тому служат древние мраморные и бронзовые статуи, сохранившиеся до наших дней. И хотя живопись отличается от скульптуры, обе они имеют один источник – хороший рисунок. И подобно тому как божественны статуи, так, надо полагать, могут быть божественными и картины, – и даже больше, ибо способны вместить в себе больше мастерства.

L

Тогда синьора Эмилия, обратившись к Джан Кристофоро Романо, сидевшему вместе с другими, спросила:

– Что вы на это скажете? Вы подтверждаете, что в живопись вкладывается больше мастерства, чем в скульптуру?

Джан Кристофоро ответил:

– Я, синьора, считаю, что скульптура требует большего труда, большего искусства и имеет большее достоинство, нежели живопись.

– Так как статуи сохраняются лучше, – сказал граф, – то, пожалуй, можно сказать, что достоинство их выше: ибо, создаваемые для сохранения памяти, они служат этому лучше, чем живопись. Но, кроме памяти, и живопись, и скульптура создаются ради красоты, и в этом живопись намного выше: пусть она и не столь долговечна, как скульптура, но живет

все-таки немало, а пока живет – восхищает гораздо больше.

– Честно признаться, я думаю, вы говорите не то, что у вас на душе, – ответил Джан Кристофоро, – а просто в угоду вашему Рафаэлю, или еще, может быть, считаете то совершенство, которое находите в его живописи, недостижимым в скульптуре. Но если так, имейте в виду, что это похвала искусному мастеру, а не искусству.

И он прибавил:

– Согласен, что и одно, и другое – искусное подражание природе; но не понимаю, как вы можете говорить, что мраморная или бронзовая фигура, у которой все члены имеют объем, форму и соразмерность такими, как создает их природа, подражает природе слабее, чем картина, где видна лишь плоскость и положенные на ней краски, обманывающие зрение. Ведь не скажете же вы, будто то, что кажется, ближе к правде, чем то, что есть. К тому же я полагаю, что работа с мрамором труднее, потому что, если в ней допустишь хоть одну ошибку, исправить ее невозможно, ибо на мрамор не поставишь заплату: приходится делать всю фигуру заново. С картиной не так; ее можно хоть тысячу раз изменять и, что-то прибавляя, что-то убавляя, делать лучше и лучше.

LI

Граф с улыбкой ответил на это:

– Я говорю не в угоду Рафаэлю; и не надо выставлять ме-

ня невеждой, которому неизвестно, какого совершенства достигли Микеланджело, вы, другие мастера в искусстве ваяния; но я говорю именно об искусстве, а не о мастерах. И верно вы говорите, что и одно, и другое искусство суть подражания природе; но дело обстоит не так, будто живопись «кажется», а скульптура «есть». Ибо, хотя статуи все объемны, как живая плоть, а живопись обычно делается на плоскости, статуе недостает много из присущего живописи, а особенно света и тени, ибо одним образом свет играет на человеческом теле, а другим – на мраморе; и живописец передает это, следуя естеству, с помощью света и тени, увеличивая их или уменьшая по необходимости, чего не может сделать ваятель. И пусть художник не может сделать фигуру объемной, зато он изображает мышцы и члены тела словно имеющими объем, так чтобы они намекали на те части тела, которые не видны, из чего прекрасно понятно, что художник и их знает и берет в расчет. Вдобавок требуется еще большее мастерство в том, чтобы изображать части тела, укорачивая или уменьшая их пропорционально к видимому, в соответствии с законами перспективы, которая соразмерением линий, цветом, светом и тенью на плоскости прямой стены представляет вам расположенное на ближнем и дальнем плане, увеличивая или уменьшая, сообразно своим требованиям. Или вы считаете мелочью подражание естественным краскам в передаче тел, тканей и всего остального, имеющего цвет? Ваятель этого сделать не в состоянии, как и вы-

разить прелестный взор черных или голубых глаз вместе с блеском тех самых «лучей любовных»[156]. Он не может передать ни цвет золотистых волос, ни блеск доспехов, ни темную ночь, ни бурю на море, ни вспышки и стрелы молний, ни горящий город, ни пробуждение розовой зари с ее золотыми и пурпурными лучами. Скульптор бессилен изобразить небо, море, землю, горы, леса, луга, сады, реки, города и здания, зато все это доступно живописцу.

LII

Поэтому я считаю живопись искусством более благородным и обладающим бóльшими возможностями, чем ваяние, и думаю, что в древности она достигала высшего совершенства, как и другие вещи, что можно понять по тем малым остаткам, что сохранились прежде всего в катакомбах Рима; но гораздо яснее можно представить это по сочинениям древних, где часто и с большим уважением упоминаются многие творения искусства и их авторы, из чего можно понять, как они были почитаемы великими государями и государствами.

---

[156] Raggio amoroso. Образ, повторяющийся неоднократно в итальянской поэзии XIII–XIV вв., но в разном значении. У Данте (канцона XX) «любовный луч» озаряет весь облик возлюбленной, когда в ней возгорается ответное чувство к любящему, а Петрарка (Канцоньере. Сонет 245) говорит о «блистающем и любовном луче» взгляда улыбающейся Лауры.

Так, мы читаем, что Александр чрезвычайно ценил Апеллеса Эфесского – вплоть до того, что, повелев Апеллесу изобразить нагой одну весьма дорогую ему женщину и услышав, что по причине ее изумительной красоты славный художник горячо в нее влюбился, царь без колебания уступил ее ему{157}. Щедрость, поистине достойная Александра: дарить не только сокровища и звания, но жертвовать собственными желаниями и чувствами; и знак величайшей любви к художнику: царь, чтобы сделать ему приятное, не побоялся огорчить женщину, к которой был весьма привязан. Нетрудно ведь догадаться, что она была очень опечалена, сменив столь великого царя на живописца. Рассказывают и о многих других знаках благоволения Александра к Апеллесу; но он вполне ясно показал, насколько его почитает, публичным указом постановив, чтобы ни один художник, кроме Апеллеса, не дерзал изображать его.

Здесь же я мог бы сказать и о состязаниях между многими знаменитыми художниками при великом одобрении и удивлении почти всего света; и о том, с какой пышностью древние императоры украшали живописными картинами свои триумфы, как выставляли их в публичных местах, сколь большие средства тратили на их покупку и что находились даже художники, которые дарили свои творения, считая, что их не оплатить никаким золотом и серебром{158}. Поведать,

---

{157} Плиний Старший. Естественная история. XXXV, 36.

{158} Такие истории рассказывает, в частности, тот же Плиний о прославленном

сколь высоко ценилась одна из картин Протогена, если Деметрий, когда осаждал Родос и имел возможность войти в город, запалив его с того края, где, как ему было известно, находилась картина, отказался от боя, чтобы не сжечь ее, и города не взял{159}. И как Метродора, философа и превосходного художника, афиняне послали к Луцию Павлу, чтобы обучать живописи его детей и украсить предстоявший ему триумф{160}. И то, что многие знаменитые авторы писали об этом искусстве, вполне свидетельствует, в каком оно было почете; но не хочу сейчас продолжать это рассуждение. Скажу лишь, что нашему придворному следует иметь познания и в живописи, поскольку она – искусство почетное и полезное и высоко ценилась в те времена, когда люди имели на-

---

Зевксисе (см. примеч. 154) и об афинском живописце Никии (Указ. соч. XXXV, 9 и 11).

{159} Об Апеллесе и Протогене см. примеч. 69. Деметрий, по прозвищу Полиоркет (т. е. Осаждатель городов; 336–283 гг. до н. э.) – македонский полководец, а в 294–285 гг. до н. э. царь. Этот эпизод рассказывается у Плиния Старшего (Естественная история. VII, 38) и, подробнее, у Плутарха (Деметрий. 22). После покорения Греции римлянами картина была увезена в Рим и погибла в пожаре города при Нероне.

{160} Плиний. Указ. соч. XXXV, 40. Луций Эмилий Павел Македонский (229–160 гг. до н. э.) – римский политик и военачальник, под водительством которого Рим завершил завоевание Греции в ходе Третьей Македонской войны (171–168 гг. до н. э.). О Метродоре-художнике все древние источники, кроме Плиния, молчат, тогда как философ Метродор, современный этим событиям, упоминается у других авторов. Оба приведенных графом примера повторяют Леон Баттиста Альберти во «Второй книге о живописи» и Джорджо Вазари во вступлении к своим «Жизнеописаниям наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих».

много бóльшую доблесть, чем теперь. И пусть он даже не извлечет из этого другой пользы или удовольствия, кроме того, что научится судить о древних и новых статуях, сосудах, зданиях, медалях, камеях, интальях и тому подобном, – но ведь живопись учит понимать и красоту живых тел, не только в миловидности лиц, но и в пропорциональности всего остального, как у людей, так и у любых других существ.

Итак, вы видите, что знание живописи – источник величайшего удовольствия. Пусть подумают над этим люди, которые так наслаждаются созерцанием красоты женщины, что им кажется, будто они в раю, но рисовать они при этом не умеют: ведь если бы они умели, то и удовольствие бы получали намного большее, имея более совершенное знание о красоте, рождающей у них в сердце такое наслаждение.

LIII

Мессер Чезаре Гонзага со смехом сказал на это:

– Я вовсе не художник, но точно знаю о себе, что с куда бóльшим наслаждением смотрю на иную женщину, чем этот упомянутый вами великий Апеллес, будь он сейчас жив.

– Это ваше наслаждение, – отвечал граф, – происходит не целиком от красоты, но и от любовного чувства, которое вы, возможно, питаете к этой женщине. И, будем правдивы, когда вы впервые смотрели на эту женщину, вы не чувствовали и тысячной доли того наслаждения, которое обрели потом,

хоть красота осталась той же, что и была. Из чего вы можете судить, насколько бóльшая доля в вашем наслаждении принадлежит любовному чувству, нежели красоте.

– Не стану этого отрицать, – сказал мессер Гонзага, – но как наслаждение рождается от любовного чувства, так любовное чувство рождается от красоты; так что можно назвать красоту причиной наслаждения.

Граф ответил:

– Не только красота, но и многое другое подчас воспламеняет нам душу: например, повадка, образованность, речь, жесты и тысяча других вещей, которые в каком-то смысле также можно считать красотами; но прежде всего чувство, что мы – любимы; так что можно даже помимо той красоты, о которой говорите вы, любить весьма горячо; но любовь, рождающаяся от одной лишь наружной красоты тела, вне всякого сомнения, подарит гораздо больше наслаждения тому, кто больше ее понимает, нежели тому, кто понимает меньше. И, возвращаясь к тому, что вы сказали, думаю, что Апеллес намного сильнее наслаждался, созерцая красоту Кампаспы, чем Александр. Ибо естественно думать, что любовь и того и другого проистекала только из этой красоты и что поэтому Александр и решил подарить ее тому, кто, как ему казалось, способен более совершенным образом ее постичь. Разве вы не читали, что те пять девушек, которых выбрал Зевксис из числа жительниц Кротона, чтобы, беря нечто от каждой, составить образ совершеннейшей красоты,

были прославлены многими поэтами как избранные за их красоту именно тем человеком, которому и подобало быть ее совершеннейшим ценителем?{161}

LIV

Тут снова заговорил мессер Чезаре, всем видом показывая, что недоволен и никоим образом не согласен с тем, что кто-либо другой как-либо может чувствовать то же наслаждение, какое чувствует он при взгляде на красоту женщины. Но в это время послышался стук шагов и звуки громкой речи. Все, разом повернувшись в сторону дверей, увидели, как в их проеме сначала появились отсветы факелов, и тут же в сопровождении большой и блистательной свиты вошел синьор префект{162}, который возвратился, проводив папу до какой-то части пути. Еще при входе во дворец он, спросив, что делает синьора герцогиня, услышал в ответ, какого рода назначена сегодня игра, и что на графа Лудовико возложе-

---

{161} Зевксис (работал в 420–380-х гг. до н. э.) – один из известнейших греческих живописцев, родом из Гераклеи Луканской. Речь идет о его картине, изображающей Елену Прекрасную (Цицерон. О нахождении материала. II, 1, 1–2). Плиний Старший (Указ. соч. XXXV, 36, 60) считает, что эту картину художник писал для Агригента. Кротона – греческий город в Калабрии (Италия), а Агригент – на Сицилии.

{162} Франческо Мария делла Ровере, племянник и в будущем преемник власти герцога Гвидобальдо. От отца унаследовал звание префекта города Рима при папе Юлии II.

на обязанность говорить о придворном искусстве; поэтому он, сколь возможно, ускорял шаг, желая успеть хоть что-то услышать.

Итак, почтительно поклонившись синьоре герцогине и дав знак садиться всем, поднявшимся с мест, когда он вошел, синьор префект и сам уселся в круг, вместе с некоторыми из сопровождавших его благородных мужей. Среди них были: маркиз Фебус да Чева со своим братом Герардино{163}, мессер Этторе Романо{164}, Винченцо Кальмета{165}, Орацио Флоридо{166} и многие другие. При общем молчании синьор

{163} Фебус и Герардино (Джилардо) да Чева – кондотьеры-наемники из Пьемонта, в Итальянских войнах сражавшиеся то на стороне французского короля, то на стороне Империи; не меньше, чем беспринципностью, были известны жестокостью и склонностью к грабежу. Герардино покончил жизнь самоубийством, чтобы избежать казни за убийство родственника.

{164} Этторе Романо, т. е. римлянин. Об этом персонаже нет точных сведений. Некоторые комментаторы без надежных оснований отождествляют его с Этторе Фьерамоска, рыцарем из Капуи, участником так называемого вызова при Барлетте (1503) – боя между тринадцатью французскими и тринадцатью итальянскими (на стороне испанской короны) рыцарями, окончившегося победой последних. Эта стычка, занимая очень скромное место в ходе франко-испанской войны за Неаполитанское королевство, в Италии вызвала тем не менее большой энтузиазм, так как поколебала распространенное в Европе мнение о невысоких боевых качествах итальянцев.

{165} Винченцо Колли, по прозванию Кальмета (псевдоним, заимствованный из романа Боккаччо «Филоколо»; ок. 1460–1508) – поэт и литературный критик, выполнявший секретарские и иные обязанности при дворах крупных итальянских магнатов (Лодовико Моро, Чезаре Борджиа и др.). Служил при дворе герцогов Урбино с 1503 г.

{166} Орацио Флоридо, в описанную пору канцлер при герцоге Гвидобальдо,

префект сказал:

– Господа, мой приход был бы слишком некстати, если бы я помешал столь прекрасным беседам, которые, как понимаю, сейчас велись между вами. Поэтому не обижайте меня, лишая себя самих и меня удовольствия.

Граф Лудовико ответил:

– Напротив, государь мой, я думаю, что умолкнуть будет для всех желаннее, нежели продолжать разговор. Поскольку сегодня этого труда мне досталось больше, чем другим, я уже утомился говорить, а другие, вероятно, устали слушать; ибо речь моя недостойна этого собрания и не соответствует величию порученной мне темы, в разборе которой я и сам не доволен собой, а другие, полагаю, довольны еще меньше. Так что вам, государь, повезло, что вы пришли к концу. А справиться с тем, что осталось, хорошо бы поручить кому-то другому, который займет мое место: кто угодно сделает это лучше меня, если я – при всем моем желании – буду продолжать в такой усталости.

LV

– Нет-нет, я не потерплю, чтобы вы как-либо уклонились

позднее был секретарем его преемника Франческо Мария делла Ровере. Взятый в плен во время войны Франческо Мария с Лоренцо II Медичи (1517), был отослан в Рим к папе Льву X, где его, с целью выведать политические секреты урбинского двора, подвергли жестоким пыткам, но он остался верен своему государю.

от данного вами обещания, – отозвался Джулиано Маньифико. – Уверен, что и синьор префект не пожалеет, услышав продолжение разговора.

– Что еще за обещание? – удивился граф.

– Вы же обещали разъяснить, каким образом должен придворный использовать те добрые качества, которые, по вашим словам, ему подобают.

Синьор префект, будучи, при всей своей молодости, более осведомленным и рассудительным, чем казалось обычным для юных лет, в каждом своем движении являл, вместе с величием духа, некую живость ума – верное предзнаменование той высокой степени доблести, которой ему предстояло достигнуть{167}. Он тут же сказал:

– Если об этом еще осталось сказать, то я, кажется, пришел как раз вовремя. Слыша, каким образом придворный должен применять эти добрые качества, я пойму и то, в чем они заключаются, а от этого узнаю обо всем, что говорилось вплоть до сего момента. Так что, граф, не отказывайтесь от уплаты долга, часть которого вы уже погасили.

– Мне не пришлось бы платить столько, будь наши труды распределены более равномерно. Но напрасно было давать такую власть одной слишком пристрастной синьоре, – отве-

{167} Франческо Мария в 1506 г. было шестнадцать лет. Его юношеский облик, запечатленный Рафаэлем на картине «Молодой человек с яблоком» (1505, Уффици), возможно, намеренно несколько приближен к внешности его бездетного дяди Гвидобальдо (известной по портрету того же Рафаэля), которому юноша был должен наследовать по праву усыновления.

тил граф, с улыбкой переводя взгляд на синьору Эмилию, которая тут же отозвалась:

– Не вам бы жаловаться на мою пристрастность. Но поскольку вы безосновательно это делаете, передадим другому долю той чести, которую вы почитаете за труд. – И она сказала, обращаясь к мессеру Федерико Фрегозо: – Вы предложили игру о придворном. Значит, будет разумно, чтобы вам досталась та ее часть, где и будет дан ответ на вопрос синьора Маньифико и разъяснено, каким образом, в какой манере, в какое время должен придворный применять свои добрые качества и те умения, какими, по словам графа, ему следует обладать.

– Синьора, – начал мессер Федерико, – отделяя способ, время и манеру от самих добрых качеств и добрых деяний придворного, вы разделяете неразделимое. Ибо все упомянутое и делает добрыми качества и деяния. И поскольку граф, говоривший так много и так хорошо, сказал кое-что и об этих обстоятельствах, держа в уме заготовленным и остальное, что должен был сказать, правильно было бы ему и довести речь до конца.

Синьора Эмилия ответила:

– Вот и вообразите, что вы – граф. И скажите то, что, как вы думаете, сказал бы он. И тогда все будут довольны.

LVI

Тут заговорил Кальмета:

– Господа! Уже поздно; чтобы мессер Федерико не имел повода уклониться от изложения того, что он знает, думаю, лучше перенести остаток разговора на завтра; а то малое время, что у нас осталось, потратить на какое-нибудь простое развлечение.

Все согласились; и синьора герцогиня пожелала, чтобы мадонна Маргарита{168} и мадонна Костанца Фрегозо станцевали. Тут же Барлетта{169}, замечательный музыкант и превосходный танцор, всегда державший двор в праздничном настроении, заиграл на своих инструментах, а они обе, взявшись за руку, сначала прошлись в бассе, а затем с величайшим изяществом исполнили «руэргский»{170}, доставив

{168} Маргарита (1487–1537), внебрачная дочь маркиза Мантуи Франческо Гонзага, брата герцогини Элизабетты, выросла в Урбино, получив замечательное образование заботами тетки. Слыла подлинным украшением урбинского двора. Получила ряд блестящих предложений, но по разным причинам ни одно из них не завершилось браком. В 1513 г. поступила в монастырь ордена кларисс, где осталась до смерти.

{169} Барлетта – музыкант и танцор, о котором будет еще раз кратко упомянуто во II книге (гл. 11). Больше о нем ничего не известно. Прозвище может указывать на происхождение из г. Барлетта в Апулии.

{170} Басса, bassa danza – род танцев, которые исполняли, почти не поднимая ног над полом. Сопровождались музыкой инструментов низкого регистра.Руэргский – в ориг. слово «roegarze», больше нигде не встречающееся. Жак Колен,

редкостное удовольствие зрителям. Затем, поскольку добрая часть ночи уже миновала, синьора герцогиня поднялась с места; также и все, почтительно попрощавшись с нею, отправились почивать.

первый французский переводчик «Придворного», в издании 1537 г. передал его как rouergoise – «руэргский». Руэрг – древнее графство на юге Франции, в Окситании, традиционно имевшей интенсивные культурные связи с севером Италии. Речь, вероятно, идет о каком-то оживленном танце, последовавшем за медленной и степенной бассой.

Вторая книга о придворном графа Бальдассаре Кастильоне к мессеру Альфонсо Ариосто

I

Я не без удивления многократно размышлял о том, откуда возникает заблуждение, которое, поскольку оно обычно наблюдается в стариках, можно считать их естественным свойством: почти все они расхваливают прошлые времена и порочат нынешние, браня наши нынешние поступки и обычаи и все, чего в своей молодости не делали они, зато утверждая, что всякий добрый обычай, всякий добрый образ жизни, всякая добродетель и вообще все на свете непрестанно ухудшается. И кажется прямо-таки противным разуму и достойным удивления, что зрелый возраст, который обычно, в силу долгого опыта, делает рассуждение людей более совершенным, в этом именно вопросе его настолько портит, что они не понимают одного: если бы мир постоянно только ухудшался и отцы вообще были лучше детей, мы еще задолго до нынешних времен достигли бы такой степени зла,

что ему уже некуда было бы ухудшаться дальше. Однако видим, что не только в наши дни, но и в прошлом всегда существовал этот порок, свойственный пожилому возрасту, как явствует из сочинений многих древнейших писателей, а особенно комиков, которые полнее, чем другие, представляют картину человеческой жизни. И я считаю, что причина этого ложного мнения у стариков в том, что годы, уходя, уносят с собой многие удобства{171} и среди другого исторгают из крови бóльшую часть животных пневм{172}, отчего телесный состав изменяется и ослабевают те органы, посредством которых душа осуществляет свои добродетели. Поэтому с наших сердец поздней порой, как осенью листья с деревьев, опадают нежные цветы радости, а вместо светлых и ясных мыслей приходит мрачная и смутная печаль в сопровождении тысячи бед, так что не только тело, но и дух становится немощен; и он хранит лишь упрямую память о былых отра-

{171} Перевод буквальный, в оригинале: comodità. Аллюзия на слова Горация (О поэтическом искусстве. 175–176): «Много с собою удобств лета, прибывая, приносят, / Много уносят, начав убывать» (пер. А. Фета).

{172} Πνεύμα – буквально: душа, дыхание, в христианском употреблении – дух, в т. ч. Божий (греч.). В лат. переводе: spiritus; Кастильоне использует соответствующее итальянское слово: spirto. Термин древнегреческих философов и физиологов, в разных школах имеющий различное содержание. Европейское Средневековье предпочитало следовать в его физиологическом применении или Аристотелю, или Галену, чья пневматическая теория психической деятельности существенно отличается от аристотелевской. Похоже, что Кастильоне в использовании этого термина опирается прежде всего на Гиппократа, для которого (как и для его предшественника Анаксимена) пневма – это жизненная сила, связанная с кровью, и на Галена, которому принадлежит сам термин «животная пневма».

дах и образ того милого времени юности, когда, кажется, и земля, и небо, и все, что ни есть перед нашими очами, ликует и смеется, когда в нашей мысли, как в прелестном и восхитительном саду, цветет сладостная весна веселья. И может быть, полезно было бы, когда солнце нашей жизни входит в эту зиму, обнажая нас от прежних удовольствий, по пути к закату терять вместе с ними и воспоминания о них, обретая, по словам Фемистокла, искусство забвения{173}; ибо чувства нашего тела так обманчивы, что зачастую обманывают и суждение ума.

И представляется мне, что старики находятся в положении тех, кто, выплывая из гавани, неотрывно смотрит на берег, и им мерещится, будто корабль стоит на месте, а берег движется, тогда как все происходит наоборот. Ибо гавань, как и время со всеми его радостями, остается в своем положении, но мы на корабле смертности один за другим уходим в бурное море, поглощающее и сокрушающее все, и не дано нам снова сойти на землю, но, испытывая удары противных ветров, мы в конце концов разобьем корабль об одну из встречных скал. Таким образом, старческий дух, потеряв способность ко многим удовольствиям, не может ими насла-

---

{173} Ср.: Цицерон. Об ораторе. II, 74: «Однажды, говорят, к нему явился какой-то ученый… и предложил научить его искусству памяти, которое тогда было еще внове. Фемистокл спросил, что же может сделать эта наука, и ученый ему ответил – все помнить. И тогда Фемистокл сказал, что ему приятно было бы научиться не искусству помнить, а искусству забывать то, что захочется» (пер. Ф. Петровского).

ждаться. И как страждущим от лихорадки, когда от испорченных паров их вкус бывает нарушен, даже самые дорогие и нежные вина кажутся горькими, так старикам из-за их бессилия – при котором сохраняется, впрочем, желание – удовольствия кажутся пресными, постылыми и уже совершенно не теми, которые они помнят по опыту, хоть удовольствия – все те же. Но, чувствуя себя лишенными их, старики скорбят и порочат настоящее время как злое, не понимая, что перемена происходит сама по себе, а не от хода времени. Напротив, памятуя о минувших удовольствиях, они вспоминают и то время, когда их имели, и за это хвалят его как доброе, ибо им кажется, будто оно несет в себе аромат того, что чувствовали мы, когда оно было настоящим; ибо в самом деле наши души ненавидят все, что сопутствовало нашим неприятностям, и любят все, что сопутствовало удовольствиям.

Бывает, влюбленному дорого иной раз взглянуть на окно, хоть закрытое, потому что в нем он некогда имел счастье видеть свою любимую; видеть перстень, письмо, сад, или другое место, или что угодно, что представляется ему живым свидетелем, хранящим память о его радостях; и напротив, иногда изукрашенный чертог становится немилым тому, кто был заключен в нем как в тюрьме или испытал какое-то другое огорчение. И знаю иных, которые ни за что не станут пить из сосуда, подобного тому, в котором они во время болезни принимали нечто лекарственное. Как то окно, или кольцо, или письмо сообщает одному приятное воспоминание, столь

услаждающее его, что само кажется частью пережитых им радостей, так другому комната или сосуд кажутся несущими в себе, вместе с воспоминаниями, болезнь или заточение. Та же самая причина, как полагаю, побуждает стариков восхвалять минувшее время и порочить настоящее.

II

И как обо всем, так говорят они и о дворах государей, утверждая, что те дворы, о которых они помнят, были намного более блестящими и полными примечательных людей, совсем не так, как сегодняшние. И, как заходит подобный разговор, пускаются превозносить похвалами придворных герцога Филиппо{174} или герцога Борсо{175}, пересказывают какие-нибудь слова Никколо Пиччинино{176}, вспоминая, будто в те времена не было и слуху об убийствах, разве что в редчайших случаях, что не было ни стычек, ни засад, ни обманов, а лишь некая доверительная и радушная благость, надежная безопасность; будто при дворах царили такие добрые обычаи, такая честность, что придворные бы-

---

{174} Филиппо Мария Висконти (1392–1447) – герцог Миланский; как и другие представители династии Висконти, отличался болезненной подозрительностью и жестокостью.

{175} Борсо д'Эсте (1413–1471) – первый герцог Феррары из династии Эсте.

{176} Никколо Пиччинино (1386–1444) – известный кондотьер-наемник, участник едва ли не всех междоусобных войн в Италии своего времени.

ли точно не придворные, а сущие монахи; и что, мол, горе бывало тому, кто скажет худое слово другому или сделает малоприличный жест женщине. Напротив, в нынешнее время, говорят они, все совершенно противоположно; и не только среди придворных утрачены те братская любовь и благопристойный образ жизни, но при дворе безраздельно господствуют лишь зависть и зложелательство, дурные нравы и распущенная, полная всякого рода пороков жизнь; женщины похотливы и забывают всякий стыд, мужчины женоподобны. Бранят и одежду как бесстыдную и слишком изнеживающую. Одним словом, порицают бесчисленное множество вещей, из которых многие действительно заслуживают порицания, ибо приходится признать, что в нашей среде много людей злых и преступных и что наше время изобилует пороками намного больше, чем то, которое они хвалят.

Но при этом, сдается мне, они плохо понимают причину этих различий и неразумны в своем желании, чтобы в мире наличествовали все блага без малейшего зла. Это невозможно; ибо если зло противоположно добру, а добро – злу, то в силу самой этой противоположности и в качестве некоего противовеса как бы необходимо одному удерживать и подкреплять другое. Когда же исчезает или возрастает одно, с ним исчезает или возрастает и другое, ибо ни одно из противоположных не бывает без того, что ему противоположно.

Разве кому-то неведомо, что в мире не было бы правосудия, если бы не существовало преступлений? Не было бы ве-

ликодушия, если бы не было малодушных? Здоровья – если бы не было недуга? Истины – если бы не было обманов? Счастья – если бы не было несчастий? Поэтому хорошо говорит Сократ у Платона: удивительно, что Эзоп не сочинил басню, в которой бы изобразил, что Бог, не сумев соединить приятное и мучительное вместе, соединил их краями, так что начало одного стало концом другого{177}. Ибо, как можно видеть, ни одну радость мы не принимаем с благодарностью, если ей не предшествует горесть.

Кто будет дорожить отдыхом, если прежде не почувствовал томление сильной усталости? Кто наслаждается едой, питьем и сном, если прежде не претерпел голода, жажды и недосыпания? И думаю я, что страдания и недуги природа дала людям не изначально, чтобы они им были подвержены: ибо не кажется подобающим, что она, мать всякого блага, собственным своим разумением определила дать нам столько бед. Но, создавая здоровье, удовольствие и другие блага, природа последовательно присоединила к ним недуги, горести и прочие беды. Поэтому, если добродетели явились в мир как милость и дар природы, тут же и пороки, по правилу той же сцепной противоположности, необходимым образом стали их спутниками; так что, когда одно растет или уменьшается, по необходимости растет или уменьшается и другое.

{177} Платон. Федон. 60b – с.

III

Поэтому, когда наши старики расхваливают дворы былых времен за то, что там не было порочных людей вроде иных из нынешних придворных, они не понимают, что те дворы не имели и таких доблестных придворных, какие есть теперь. Это и не удивительно, ибо ни одно зло не бывает настолько злым, как то, что родится от испорченного семени добра; и теперь, когда природа производит намного лучшие таланты, чем тогда, – как стремящиеся к добру поступают намного лучше прежних, так стремящиеся ко злу поступают намного хуже.

Итак, не стоит говорить, будто те, которые удерживались от зла потому, что не умели его делать, заслуживают за это какую-либо похвалу; ибо зла делали хоть и немного, но делали его больше, чем умели. А в том, что таланты тех времен намного ниже нынешних, вполне можно убедиться из всего того, что производят нынешние: как в литературных занятиях, так в живописи, скульптуре, архитектуре и всем остальном.

Порицают также те старики в нас многие вещи, которые сами по себе ни хороши, ни плохи; но они бранят их лишь потому, что сами так не поступали. И говорят, что не подобает юношам ездить по городу верхом на коне, а в крайнем случае на муле; не подобает носить зимой длинную одежду,

подбитую мехом; носить мужчине берет, если он не достиг восемнадцатилетнего возраста, и тому подобное. И в этом они поистине заблуждаются, ибо такие обыкновения не только удобны и полезны, но стали привычны и всем нравятся – так же, как раньше нравилось ходить в джорне́{178}, с открытыми ляжками и в полированных башмаках, или без всякого смысла, ради одного щегольства, носить целыми днями на руке сокола, или танцевать с женщиной, не касаясь ее руки, и делать многое другое, что теперь покажется в высшей степени нелепым, но в те времена весьма уважалось.

Так что пусть и нам будет позволено следовать обыкновению нашего времени, не боясь попреков от этих стариков, которые часто, желая похвалиться, говорят: «Мне было двадцать лет, и я еще спал вместе с матерью и сестрами, да и после долго не знал, что такое женщина; а теперь мальчишки, у которых еще молоко на губах не обсохло, знают больше всякой дряни, чем раньше – опытные мужчины» – и этим, сами того не сознавая, подтверждают, что в нынешних мальчишках больше смекалки, чем имели тогдашние старики.

Пусть же прекратят они порочить наши времена как полные пороков; ибо, удалив из него пороки, они удалят также и добродетели; и пусть помнят, что и среди древних, во времена, когда в мире цвели души славные и поистине божественные во всякой доблести, было много и в высшей степени по-

{178} Популярная в XV в. одежда без рукавов, в виде накидки спадающая на грудь и на спину, иногда поддерживаемая поясом.

рочных, которые, живи они сейчас, превосходили бы злом нынешних злых, как те добрые превосходят благом нынешних добрых, о чем свидетельствуют все историки.

IV

Но кажется, мы уже достаточно ответили этим старикам. Так что оставим эту речь, возможно слишком затянутую, но не вовсе никчемную. И, достаточно показав, что дворы нашего времени достойны не меньших похвал, чем те, что так превозносят эти старики, послушаем дальнейшие рассуждения о придворном, из которых весьма нетрудно понять, на какой ступени среди других дворов стоял двор Урбино, и каковы были те государь и государыня, которым служили столь замечательные умы, и сколь счастливыми могли назвать себя все бывшие с ними в общении.

V

Итак, когда настал следующий день, среди рыцарей и дам двора продолжались обильные и разнообразные беседы о диспуте, бывшем накануне, большей частью оттого, что синьор префект, желая узнать, о чем говорилось, расспрашивал об этом едва ли не каждого, и, как всегда бывает, ему отвечали различно. Одни хвалили одно, другие – другое, а

кроме того, многие не вполне согласно между собой передавали речи графа, так как сказанное им ничья память не сохранила во всей полноте.

Так что говорили об этом почти весь день. А как только стемнело, синьор префект повелел накрыть стол и всех благородных увел с собой к ужину, и сразу после трапезы направился с ними в покои синьоры герцогини. Та же, увидев столько народу и раньше обычного времени, сказала:

– Большой же груз на плечах у вас, мессер Федерико! Велики ожидания, которым вам придется соответствовать!

– Большой груз, ну и что за дело? – воскликнул Унико Аретино, не дожидаясь ответа мессера Федерико. – Кто так глуп, если, зная, что́ надо делать, не делает этого в подходящее время?

Так, обмениваясь словами, все расселись по местам в прежнем порядке, с величайшим вниманием ожидая предстоящей беседы.

VI

И мессер Федерико, обратившись к Унико, сказал:

– Не кажется ли вам, синьор Унико, что нынешним вечером мне досталось трудное дело и нелегкое бремя: показать, как, в какой форме и в какое время должен придворный проявлять свои добрые качества и заниматься теми делами, которые, как было сказано, ему приличны?

– Не вижу в этом ничего особенного, – отвечал Унико. – Думаю, достаточно, чтобы придворный был рассудителен, о необходимости чего вчера хорошо сказал граф; и если он таков, думаю, что и без других советов сможет применять то, что знает, в подходящее время и в подходящей форме. Обставлять же это подробными правилами было бы слишком трудно и, может быть, излишне; ибо не знаю, кто будет столь глуп, что захочет упражняться с оружием, когда все вокруг увлечены музыкой; или пойдет по улице, танцуя мореску, даже если прекрасно умеет это делать: или, желая утешить мать, потерявшую сына, начнет любезничать и острословить. До этого, конечно, не дойдет ни один благородный человек, если он не лишился ума.

– Вы, синьор Унико, как-то слишком впадаете в крайности, – сказал мессер Федерико. – Иной человек глуп таким образом, что сразу не распознаешь, да и ошибки бывают разные: например, он в состоянии удержаться от глупости публичной и слишком явной, вроде той, как вы говорите: идти по площади, танцуя мореску, – но не умеет удержаться от того, чтобы некстати похвастаться, проявить отталкивающую самонадеянность, отпустить подчас какую-то фразу, думая рассмешить, – но, сказанная некстати, она выходит совсем несмешной и неловкой. И часто эти ошибки бывают скрыты за неким покрывалом, не дающим их обнаружить тому, кто их совершает, если только он не всматривается в них с усердием; и хотя есть довольно причин, по которым наш взгляд

мало что различает, но более всего он омрачается тщеславием. Ибо каждый любит показать себя в том, в чем, по собственному убеждению, хорошо разбирается, будь это убеждение истинно или ложно. Как мне кажется, искусство хорошо владеть собой по этой части состоит в некой осмотрительности и способности к рассудительному выбору, чтобы знать прибыль и убыток, то есть то, что поступками приобретаешь или теряешь, в зависимости от того, своевременны они или нет. И будь придворный даже вполне рассудителен и способен к такому различению, ему будет легче достигать цели, не просто придерживаясь каких-то общих понятий, но если в помощь его мыслям мы дадим несколько правил, укажем верный путь и, так сказать, точки опоры, на которых он мог бы основываться в своих поступках.

VII

Поскольку граф вчера так много и красиво рассуждал о придворном искусстве, я чувствую немалую боязнь и сомнение: смогу ли я так же хорошо, как он, удовлетворить ожиданиям благородных слушателей в том, о чем предстоит мне держать речь. Но чтобы, насколько в моих силах, разделить с ним похвалу и быть уверенным, что я хотя бы в этом не ошибаюсь, я ничего не стану говорить ему наперекор.

Соглашаясь с его мнением, в частности о желательных для придворного благородстве происхождения, телесной сораз-

мерности, изяществе повадок, скажу так: чтобы придворный удостоивался похвалы и уважения от каждого и благоволения государей, у которых служит, ему, на мой взгляд, необходимо суметь так устроить и согласовать свою жизнь, чтобы извлекать пользу из своих добрых качеств всесторонне, в общении со всеми людьми, не вызывая их зависти. Редко кто этого достигает, что и показывает, насколько трудно это дело. Ибо, поистине, все мы от природы больше охочи порицать ошибки, чем хвалить сделанное хорошо; и многие, кажется, по какому-то врожденному злонравию, даже ясно сознавая, что́ в этом деле хорошего, всячески стараются выискать в нем недостаток или хотя бы его подобие. Потому-то необходимо нашему придворному во всяком деле быть осторожным и все, что он говорит и делает, говорить и делать с осмотрительностью. И не только воспитать в себе превосходные стороны и качества, но и сам образ своей жизни распределить так, чтобы в нем все этим сторонам и качествам соответствовало, никогда ни в чем не создавая впечатления, будто он изменяет сам себе, но образуя как бы единое тело для всех этих добрых качеств. Чтобы каждый его поступок был и результатом, и совмещением всех добродетелей, – подобно тому, что говорят стоики об обязанностях того, кто мудр[179]. Поэтому, хотя в каждом действии одна из добродетелей является основной, все они настолько связаны одна с другой, что сходятся воедино и могут вместе способство-

[179] Например, Цицерон в трактате «О пределах добра и зла» (гл. 6–7).

вать и служить достижению любой цели. И мудрому следует уметь пользоваться ими, для сравнения и как бы контраста с какой-то из них подчас выставляя на обозрение другую, подобно тому, как хорошие живописцы тенью выделяют и делают виднее свет на выпуклых местах, а светом – тени на плоских поверхностях и сочетают разные цвета так, чтобы по причине их несходства оба играли ярче. Так же и размещение фигур относительно друг друга помогает художнику добиться нужного эффекта.

Например, добродушие весьма достойно восхищения в рыцаре отважном и привыкшем к оружию; и как его отвага представляется большей в сочетании со скромностью, так и скромность усиливается и делается ярче, соседствуя с отвагой. Поэтому если кто мало говорит, много делает и не хвалит сам себя за дела, достойные похвалы, но благонравно скрывает их, – это в человеке, умеющем благоразумно следовать такому правилу, делает более весомой и ту и другую добродетель. То же бывает и со всеми остальными добрыми качествами.

Итак, я бы посоветовал нашему придворному во всем, что он делает или говорит, пользоваться несколькими общими правилами, вкратце содержащими все, что мне предстоит сказать. И первое и самое важное из них напомнил нам вчера граф: прежде всего пусть избегает нарочитости. Далее, пусть хорошо обдумывает суть того, что сделает или скажет, учитывает место, где он это делает, в чьем присутствии, в ка-

кое время, помня причину, по которой он это делает, свой возраст, род занятий, не упуская из виду цель, к которой стремится, и средства, могущие к ней подвести. И с такими предуготовлениями пусть благоразумно подходит ко всему, что собирается сделать или сказать.

VIII

Здесь мессер Федерико сделал небольшую паузу. Воспользовавшись молчанием, синьор Морелло да Ортона вставил:

– Эти ваши правила, сдается мне, мало чему учат. Я и сейчас знаю обо всем этом столько же, сколько знал до того, как вы их тут нам изложили. Хотя, помнится, пару раз слышал такие правила от монахов, которым исповедовался, и они как будто называют все это «обстоятельствами».

Мессер Федерико, улыбнувшись, сказал:

– Если помните, вчера граф, говоря, что первым делом придворного должно быть военное, пространно рассказал о том, как он должен им заниматься, – и повторяться тут незачем. Однако наше правило подразумевает, например, то, что придворный, если участвует в стычке, или на поле боя, или в других подобных обстоятельствах, должен благоразумно повести себя так, чтобы выделиться из толпы и выполнять дела значительные и смелые, которые велит ему долг, сколь возможно малой командой и на глазах самых известных и

важных людей в войске, а лучше всего, если возможно, в присутствии самого короля или того государя, которому служит. Ибо воистину правильно – извлечь пользу из хорошо сделанного дела. И я думаю, что как плохо искать ложной и незаслуженной славы, так же плохо и лишать себя заслуженной чести, не ища той хвалы, которая одна только и бывает истинной наградой за доблестные подвиги. Случалось мне знавать таких, которые хоть были и отважными, но в этом отношении – сущими недотепами; чтобы овладеть загоном для овец, они подвергали жизнь такой опасности, будто стремились взобраться первыми на стену захваченного города. Но наш придворный не будет поступать так, держа в памяти единственную причину, которая ведет его на войну. Этой причиной должна быть только честь.

Если же ему доведется брать в руки оружие в публичных зрелищах – поединках, турнирах, в игре с тростями или делая какое-то иное телесное упражнение, – пусть он, помня, где находится и в чьем присутствии это делает, старается не только быть защищенным доспехами, но и выглядеть в них не хуже, насыщая глаза зрителей всем тем, что, по его расчету, может придать ему изящества. Пусть позаботится, чтобы конь его был в красивой сбруе, чтобы одежда ему шла, чтобы девиз соответствовал, импреза была сочинена талантливо{180}, чтобы все это притягивало к себе глаза окружающих,

{180} 18 °Составление импрез (см. примеч. 30) с девизами (последние нередко заимствовались из Св. Писания или древних авторов) требовало хорошего вкуса

как магнит – железо. И пусть никогда не выходит на публику среди последних, памятуя, что люди, а особенно женщины, с бóльшим вниманием смотрят на первых, чем на последних, ибо зрение и дух, алчные до новизны, вначале замечают каждую мелочь и из нее составляют себе впечатление, но затем не только насыщаются, но и устают от продолжительности зрелища. Поэтому один знаменитый древний актер в трагедиях всегда старался выходить на сцену первым{181}.

Таким же образом, говоря в том числе и о военных делах, наш придворный будет учитывать род занятий тех, с кем беседует, и вести себя соответственно, по-разному разговаривая с мужчинами и женщинами; а если коснется чего-то, связанного с его собственными похвальными делами, сделает это прикровенно, как бы к слову и походя, со скромностью и осмотрительностью, как изложил нам это вчера граф Лудовико.

и эрудиции. Мастера этого дела были в высокой чести у итальянской знати и щедро вознаграждались.

{181} Ср.: Аристотель. Политика. VII, 15, 10: «Трагический актер Феодор… никогда не дозволял ни одному актеру, даже из числа посредственных, выступать ранее его, так как зрители свыкаются с теми звуками, какие они услышали сначала» (пер. С. Жебелева). Как видим, у Аристотеля актер заботился не о собственной славе, а о том, чтобы с самого начала задать высокий уровень исполнения как для зрителей, так и, естественно, для самих актеров.

IX

Вы и теперь думаете, синьор Морелло, что наши правила не способны чему-то научить? И вам не кажется, что один наш друг, о котором я рассказывал пару дней назад, совершенно забыл, с кем говорит и зачем, когда, желая развлечь одну благородную даму, которую видел впервые в жизни, с первых слов беседы пустился рассказывать ей, сколько поубивал народу, как он храбр и как лихо орудует двуручным мечом? Он не отпускал ее, настойчиво объясняя, как отбиваться от топора, если ты вооружен, и как, если ты без оружия, и показывая различные приемы владения кинжалом; бедняжка чувствовала себя точно пригвожденной, и час, проведенный с ним, показался ей тысячью лет от страха, как бы он и ее не убил, как тех, о ком рассказывал. В подобные ошибки впадают те, кто не учитывает обстоятельств, о которых вы, по вашим словам, слышали от монахов.

Итак, я говорю, что из телесных упражнений некоторые почти всегда делаются при стечении зрителей – как поединки, турниры, игра с тростями и другие, связанные с оружием. И если нашему придворному доведется принимать в них участие, он заранее должен позаботиться о том, чтобы у него были в полном порядке конь, оружие и одежда, чтобы всего у него хватало; а если не чувствует себя полностью подготовленным, пусть ни в коем случае не ввязывается в дело;

ибо, если выйдет плохо, нельзя будет отговориться тем, что это «не твое ремесло». Затем, надо серьезно думать о том, в чьем присутствии выступаешь и каковы у тебя товарищи, – ибо неприлично рыцарю почтить своим присутствием деревенский праздник, где его зрителями и товарищами будут простолюдины.

X

Синьор Гаспаро Паллавичино заметил на это:

– В наших краях, в Ломбардии, нет таких разделений, напротив, на праздниках многие молодые дворяне день-деньской пляшут вместе с крестьянами и играют с ними, мечают жердь, борются, бегают наперегонки, прыгают. И мне это не кажется зазорным, потому что при этом состязаются не в благородстве, а в силе и ловкости, в чем деревенские часто не уступают благородным. И думаю даже, что такая простота в обращении имеет в себе что-то от любезного радушия.

– Эти танцы под солнцем, – сказал в ответ мессер Федерико, – мне нисколько не по душе, и не знаю, что вам за прибыль от них. Но кому нравится бороться, бегать взапуски и прыгать с мужичьем, должен делать это, по моему мнению, испытывая себя и, так сказать, из учтивости, а не чтобы состязаться с ними. И он должен быть почти уверен в победе, а иначе пусть не берется; ибо слишком большое зло и слишком гнусное дело, оскорбляющее достоинство, – видеть, как бла-

городного человека одолел мужик, особенно в борьбе. Так что, думаю, от подобного лучше воздерживаться, во всяком случае при стечении народа, потому что польза от победы ничтожна, а вред, если тебя победят, огромен.

Еще и игра в мяч почти всегда происходит публично; и она – одно из тех зрелищ, которым множество зрителей служит немалым украшением. И пусть, кроме упражнений с оружием, наш придворный занимается и этой игрой, и любыми другими, которые не составляют для него постоянного увлечения, чтобы не выглядело, будто он ищет или ждет за них какой-либо похвалы или тратит на подготовку к ним усердие и время, даже если играет в них превосходно, и пусть не ведет себя, как те, что страстно преданы музыке и, говоря с кем угодно, лишь только случится пауза в разговоре, сразу начинают напевать; а иные, ходя по улицам и даже заходя в церкви, всегда пританцовывают; а третьи, встретив друзей на площади или где-то еще, тут же принимаются или играть с мечом, или бороться – в зависимости от того, чем больше увлечены.

– Еще лучше поступает один наш молодой кардинал в Риме, – вставил мессер Чезаре Гонзага. – Любя показать, как он статно сложен, он ведет всякого пришедшего к нему с визитом – даже если видит его впервые в жизни – в сад, где самым настойчивым образом приглашает раздеться до жилета и посоревноваться с ним в прыжках{182}.

{182} Некоторые комментаторы, опираясь на слово «наш» и полагая, что име-

XI

Посмеявшись, мессер Федерико продолжил:

– Имеются и некоторые другие занятия, которые могут быть как публичными, так и приватными: например, танец. И полагаю, что придворный должен относиться к этому с разбором; ибо, танцуя в присутствии толпы, в месте, полном народа, ему подобает сохранять определенную степенность, смягченную, впрочем, легким и непринужденным изяществом движений. Поэтому, даже если он обладает замечательной подвижностью и хорошо чувствует темп и ритм, пусть не увлекается подскоками и двойным притопом, которые, как видим, так прекрасно удаются нашему Барлетте, но, пожалуй, благородному человеку не совсем приличны. Хотя приватным образом, находясь в покоях, как мы теперь, думаю, позволительно и это, и выплясывать мореску и брандо{183}; но на публике – разве что переодетым, и пусть да-

---

ется в виду один из кардиналов, родственно близких к урбинскому дому, видят в нем Галеотто Франчотти делла Ровере (ум. 1508), епископа Лукки, племянника папы Юлия II.

{183} Брандо – вид энергичных групповых танцев, представлявших собой повторение простых шагов, прыжков и притоптываний и исполнявшихся в кругу или в цепочке. В этом случае речь идет, очевидно, о танце в форме, не обработанной специально для придворного обихода. В сохранившемся, например, до нашего времени народном варианте Нижнего Пьемонта брандо – круговой танец, который исполняют, взявшись за руки, двигаясь вправо и влево, с подпрыгиваниями и наклонами.

же любой его узнает, это, по крайней мере, не производит неприятного впечатления.

Выставляться же с этим на всеобщее обозрение, при оружии или без него, – в любом случае не лучший выбор. Ведь когда человек переодет, это придает некоторую свободу и вольность, которая, помимо прочего, дает принять на себя вид, ему подходящий, чтобы чувствовать себя уверенно и проявлять как максимум усердия и изощренности в главном, в чем хочется себя показать, так и некую непринужденность в том, что не важно. Очень усиливает привлекательность, если, например, юноша примет на себя личину старика, однако в свободной одежде, чтобы иметь возможность вести себя молодцевато; рыцарь – преобразится в грубого пастуха или кого-то вроде, но на прекрасном коне и в ловко сидящем, хотя и подобающем по роли, платье, ибо души окружающих сначала спешат вообразить то, что представляется очам при первом взгляде, а потом, увидев намного больше того, что мог обещать костюм, забавляются и получают удовольствие.

Поэтому государю в таких играх и зрелищах, где надевают костюмы и маски, изменяя облик, не очень-то идет сохранять собственно вид государя, ибо удовольствие, которое новизна производит в зрителях, от этого большей частью рассеется: ведь ни для кого не ново, что государь – это государь. И он сам, давая всем понять, что, являясь государем на деле, хочет еще иметь и облик государя, тем самым теряет свободу делать вещи, выходящие за рамки его сана. Если

же в игры входит какое-то соревнование, особенно с оружием, люди могут подумать, будто он хочет сохранить на себе облик государя, чтобы не оказаться побитым, но, напротив, чтобы все прочие уступали ему первенство. Кроме того, если он будет делать в играх то же самое, что должен по необходимости делать всерьез, то в действительной жизни он потеряет авторитет, и будет казаться, что даже и настоящие его занятия – некая игра{184}. Зато если государь снимет с себя царственный облик и смешается с низшими, как с равными, впрочем оставаясь узнаваемым, он, отложив одно величие, приобретет другое, большее – стремление превзойти остальных не авторитетом власти, но доблестью – и покажет, что его храбрость и мужество не превозносятся только потому, что он государь.

XII

Стало быть, и придворный во время зрелищ, связанных с оружием, должен иметь такую же осмотрительность, соответственно своему званию. Я очень рекомендовал бы ему и в скачках верхом, борьбе, беге наперегонки и прыжках укло-

{184} Мессер Федерико хочет сказать, что, если государь явится, например, при маскарадном представлении в костюме некоего мифического или исторического царя и будет изображать суд, заседание государственного совета или что-то еще, шуточно представляющее исполнение властных функций, он тем самым рискует подорвать почтение и доверие к своей реальной власти.

няться от скоплений простонародной толпы или, во всяком случае, показываться перед ней очень редко. Ибо нет на свете столь прекрасной вещи, которой невежды скоро не пресыщаются, если часто ее наблюдают.

То же касается и музыки; я не хочу, чтобы наш придворный поступал как многие, которые, где ни окажутся, и даже в присутствии знатных людей, с которыми нимало не знакомы, не заставляя долго себя упрашивать, сразу пускаются делать все, что умеют, а подчас и то, чего не умеют. Кажется, будто они пришли сюда только побахвалиться и это самое и есть их главное занятие. Поэтому пусть придворный берется за музыкальные инструменты лишь ради забавы и почти принужденно, но никогда – в присутствии простолюдинов или при большом стечении народа. И даже если хорошо знает и умеет то, что делает, пусть и в таком случае скрывает усердие и труды, которые необходимо положить на любое занятие, чтобы быть в нем на высоте, и своим поведением показывает, будто сам мало ценит в себе это искусство: если он владеет им превосходно, пусть его хвалят другие.

XIII

– Есть много видов музыки, – сказал синьор Гаспаро Паллавиччино, – исполняемой как живым голосом, так и на музыкальных инструментах. Хотелось бы услышать, какая из всех наилучшая и в какое время подобает придворному ис-

полнять ее.

– Прекрасной музыкой, – ответил мессер Федерико, – кажется мне верное пение, по нотам, в красивой манере; но еще больше – пение под виолу, ибо все сладкозвучие – в сольном исполнении. Ведь мы с бóльшим вниманием отмечаем и воспринимаем красивую манеру и стиль пения, когда наши уши не заняты ничем другим, кроме единственного голоса. С другой стороны, при этом лучше различима и малейшая ошибка – чего не бывает, когда несколько человек поют вместе, так как они поддерживают друг друга. Но больше всего мне по сердцу речитативное пение под виолу: оно придает словам на удивление много красоты и убедительности. Гармоничны и все клавишные инструменты, так как производят весьма звучные аккорды, и на них легко исполнить многие вещи, услаждающие душу мелодией. Не меньше восхищает игра квартета смычковых, весьма нежная и искусная. Человеческий голос добавляет немало красоты и изящества игре на этих инструментах, и пусть наш придворный хотя бы имеет о них представление, а чем более мастерски владеет ими, тем лучше. При этом пусть он не слишком увлекается теми, которые отвергла Минерва, а за нею и Алкивиад, – ибо они кажутся имеющими в себе нечто безобразящее{185}.

{185} Аристотель в «Политике» (VIII, 6, 8) приводит миф о том, что Афина, создав флейту, отбросила ее, будто бы «в гневе на то, что при игре на флейте лицо принимает безобразный вид. Настоящая же причина, – комментирует далее философ, – конечно, заключается в том, что обучение игре на флейте не имеет никакого отношения к умственному развитию, Афине же мы приписыва-

А использовать эти виды музыки я считаю возможным в любое время, когда человек находится в задушевной и дружеской компании и свободен от других дел, но прежде всего она уместна в присутствии женщин, поскольку названные ее черты смягчают души слушающих, раскрывая их перед нежностью музыки, и при этом возбуждают дух того, кто играет. Хотя, как я уже говорил, предпочтительно держаться подальше от многолюдства, а особенно от толпы простолюдинов. Но пусть приправой ко всему будет рассудительность, ибо на деле нельзя вообразить все возможные случаи; а если придворный будет справедливым судьей себя самого, то сможет применяться ко времени, зная, когда души слушателей расположены к музыке, а когда нет. Пусть не забывает и о своем возрасте: ибо, право, совсем неприлично и странно видеть человека, занимающего определенную ступень, старого, седого и беззубого, покрытого морщинами, с виолой в руках, распевающим в компании женщин, даже если он кое-как с этим справляется. Ведь при пении произносят в основном любовные слова, а любовная страсть в стариках смешна, хотя порой и кажется, что будто Амур развлекается тем, что

ем и знание, и искусство» (пер. С. Жебелева). Близкое по смыслу рассуждение приписывает Плутарх Алкивиаду в своей биографии последнего. Еще подростком Алкивиад отказался «играть на флейте… считая это искусство низменным и жалким: плектр и лира, говорил он, нисколько не искажают облика, подобающего свободному человеку, меж тем как, если дуешь в отверстия флейт, твое лицо становится почти неузнаваемо даже для близких друзей. Кроме того, играя на лире, ей вторят словом или песней, флейта же затыкает рот, заграждает путь голосу и речи» (пер. С. Маркиша).

среди многих своих чудес воспламеняет, вопреки годам, и сердца обледенелые.

XIV

Маньифико отозвался на эти слова:

– Не лишайте, мессер Федерико, бедных стариков этого удовольствия; знаю мужчин весьма в возрасте, у которых и голос замечательный, и руки прекрасно владеют инструментами, не в пример иным молодым.

– Да не собираюсь я лишать стариков этого удовольствия, – сказал мессер Федерико. – Но хочу лишить вас и этих женщин повода насмехаться над их глупостью; а если вашим старикам неймется распевать под виолу, пусть делают это за закрытыми дверями, только ради того, чтобы прогнать с души мучительные думы и тяжкие тревоги, которыми полна наша жизнь, и ощутить то божественное, что, как я полагаю, слышали в музыке Пифагор и Сократ. И даже если сами не будут играть и петь, то, определенным образом настроив душу, они, слушая, почувствуют это гораздо лучше, чем тот, кто не имеет о музыке понятия. Ибо как руки ремесленника, даже будучи слабы, в силу привычки более ловки, чем руки иного, хоть и крепкого, но не приученного к ручному труду, так слух, привычный к гармонии, гораздо лучше и скорее различит ее и почерпнет в ней большее удовольствие, чем другой, сколь угодно молодой и острый,

но необыкший в разнообразии музыкальных созвучий. Ибо в него эти модуляции не проникают, но, не оставив никакого приятного ощущения, проходят мимо ушей, неприученных слушать их, притом что некую приятность чувствуют в мелодии даже дикие звери. Вот какое удовольствие прилично извлекать старикам из музыки. То же скажу и о танце; ибо поистине увлечение им надо оставлять раньше, чем возраст заставит нас оставить его против нашей воли.

– А еще, стало быть, лучше, – вставил не без раздражения синьор Морелло, – прогнать всех стариков и постановить, что отныне называются придворными только молодые {186}.

Мессер Федерико ответил на это со смехом:

– Можете видеть сами, синьор Морелло, что увлекающиеся такими вещами, если они не молоды, стараются казаться молодыми – и красят волосы, и бреют бороду дважды в неделю, – и все потому, что сама природа молчаливо говорит им, что такие вещи только молодым и приличны.

Тут все женщины рассмеялись, ибо каждая поняла, что слова эти метили в самого синьора Морелло, который, казалось, был несколько сконфужен.

{186} Морелло ценили при дворе как искусного лютниста. Его раздражение показывает, что он почувствовал в словах мессера Федерико выпад, направленный против него лично.

XV

– Но есть ведь и другие развлечения с дамами, – поспешил продолжить мессер Федерико, – вполне подходящие для мужчин в летах.

– Какие же это? – усмехнулся синьор Морелло. – Может, сказки рассказывать?

– Почему бы и нет? – подхватил мессер Федерико. – Но каждый возраст, как вы знаете, приносит с собой свои мысли, какие-то характерные добродетели и какие-то характерные пороки. Ибо старики обычно более осмотрительны, сдержанны, дальновидны, чем молодые, но в то же время и более болтливы, скупы, капризны, боязливы; дома они то и дело кричат, резки с детьми, хотят, чтобы каждый делал все по их нраву. Напротив, молодые смелы, щедры, искренни, – но и скоры на драку, переменчивы, моментально переходя от любви к ненависти, послушны только своим прихотям и враждебны тем, кто напоминает им о добром пути. Но из всех возрастов самый умеренный – это возраст зрелости, когда человек уже оставил позади дурные стороны юности, но не достиг еще тех, какие приносит с собой старость.

Стало быть, нужно, чтобы юноши и старики, стоящие как бы на разных концах, умели с помощью разума исправлять пороки, свойственные им от природы. И старикам надо беречься от того, чтобы слишком хвалить себя, и от других

уже названных пороков, свойственных их возрасту, извлекая пользу из той осмотрительности, того знания жизни, что приобретены долгим опытом, и быть как бы оракулами для каждого, кто приходит к ним за советом, доброжелательно и к месту высказывая открытое им и сочетая со степенностью возраста некую уравновешенную и шутливую приветливость.

Поступая так, они явятся добрыми придворными, прекрасно общаясь с мужчинами и женщинами, и во всякое время будут желанными в обществе, даже если и не станут петь или танцевать; а когда случится нужда, покажут свою доблесть в делах великой важности.

XVI

Такую степенность и рассудительность пусть приобретают и юные, вовсе не копируя стиль стариков, ибо то, что идет одним, другим нисколько не идет (и не зря говорят, что излишняя мудрость в юных – дурной знак), но исправляя в себе естественные для своего возраста пороки. И очень приятно бывает видеть юношу, особенно в рыцарских доспехах, выказывающего некую серьезность и немногословность, как бы превосходя самого себя, без того беспокойного нрава, который часто случается видеть в его возрасте; такие юноши кажутся обладающими чем-то бóльшим, чем другие их ровесники. Кроме этой сдержанности, пусть он имеет в себе

некую спокойную отвагу, ибо она кажется движимой не гневом, но рассуждением и чаще направляемой разумом, чем вожделением. Такая отвага почти всегда отличает людей великого мужества. И равным образом мы видим ее у тех из диких животных, которые превосходят других благородством и силой, например у льва и орла, – что объяснимо. Ибо это порывистое и внезапное движение, без слов, без всякого выражения ярости, всей собранной воедино силой, моментально, словно пушечным выстрелом, вырывается из состояния покоя, ему противоположного, гораздо более бурно и яростно, чем то, которое разгорается постепенно. Но те, которые в предвидении какого-то опасного дела безудержно болтают, подскакивают, не могут стоять на месте, – кажется, в этом выплескивают себя и, как хорошо сказал наш мессер Пьетро Монте, подобны тем мальчишкам, которые, идя куда-нибудь ночью, от страха поют, пением как бы поднимая себе дух. И как в юноше весьма похвальна спокойная и зрелая молодость – ибо она показывает, что легкомыслие, главный порок этого возраста, в нем обуздано и исправлено, – так ценится в старике бодрая и живая старость, свидетельствующая, что сила духа в нем столь велика, что придает огня и силы этому немощному и холодному возрасту, поддерживая его в том среднем состоянии, которое и есть лучшая часть нашей жизни.

XVII

Но и всей совокупности этих добрых качеств нашего придворного недостанет, чтобы стяжать общее благоволение государей, рыцарей и дам, если он не приобретет также учтивой и любезной манеры в повседневном общении. А в этом, полагаю, трудно дать какое-либо правило для бесчисленных и разнообразнейших случаев общения, ибо среди всех живущих на свете людей не найдется двоих, которые душевно были бы полностью одинаковы. И кому приходится применяться к собеседованию со многими, нужно руководиться своим собственным рассуждением и, сознавая различия между людьми, каждый день изменять стиль и способ общения, сообразно натуре того, с кем он пускается в беседу.

И я не знаю других правил для этого, кроме уже названных, которым наш синьор Морелло научился еще в детские годы во время церковных исповедей.

Синьора Эмилия, улыбаясь, сказала:

– Как старательно избегаете вы труда, мессер Федерико! Но он еще далеко не выполнен: вам надлежит говорить, пока мы не разойдемся спать.

– А если мне, синьора, нечего больше сказать? – возразил мессер Федерико.

– В этом проявится ваш талант, – отвечала синьора Эмилия. – И если правда то, что я слышала, будто нашелся че-

ловек настолько талантливый и красноречивый, накопавший столько материала, что хватило на целую книгу в похвалу мухе{187}, а другим – в похвалу лихорадке{188}, а еще одному – в похвалу лысине{189}, то неужели это не придаст вам духу набрать материал, чтобы в течение одного вечера поговорить о придворном искусстве?

– Мы об этом уже столько наговорили, – вздохнул мессер Федерико, – что хватило бы на две книги. Но раз уж вы меня не отпускаете, буду говорить, пока вам не покажется довольно – довольно, может быть, не для самой темы, но хотя бы для моих сил.

{187} Лукиан Самосатский (ок. 120 – после 180 г. н. э.) – писатель-сатирик, эллинизированный сириец, среди творений которого имеется «Похвала мухе».

{188} Первый из этих авторов – Фаворин (ок. 80 – ок. 150 г. н. э.), ритор и философ-скептик, эллинизированный галл. Среди написанных им речей, служащих для обучения ораторскому мастерству, есть и шутливые, как речь в похвалу лихорадке. Второй, возможно, Ульрих фон Гуттен (1488–1523), немецкий писатель, автор сатирических диалогов на латыни, направленных против папского Рима, духовенства и теологов-схоластов. Среди них – два диалога под общим заглавием «Лихорадка» (1518–1519); но на них Кастильоне мог сослаться разве что в последний период работы над книгой: в 1507 г. диалоги Гуттена еще не были написаны.

{189} Синезий Киренский (370/375–413/414) – христианский богослов и философ-неоплатоник, автор философских и естественно-научных сочинений, а также церковных гимнов. Епископ г. Птолемаиды в Киренаике (совр. Ливия). «Похвала лысине» – шуточное сочинение, написанное им еще до принятия христианства. Ряд примеров пародийных похвал, приведенный у Кастильоне, в сокращенном виде соответствует подобному ряду, приводимому Эразмом Роттердамским в его «Похвале глупости» (1511), которую Кастильоне, несомненно, знал.

XVIII

Полагаю, что то общение, которому в первую очередь должен учиться придворный, прилагая все старание, чтобы сделать его приятным, – это общение со своим государем. И хотя само слово «общение» подразумевает как бы некое равенство, которого, кажется, не может быть между господином и слугой, мы пока будем употреблять именно его. Итак, пусть придворный не только сделает свое общение с государем именно таким, чтобы ежедневно все видели его высоко ценимым, как сказано прежде, но пусть все мысли и силы души своей обратит на то, чтобы любить и прямо-таки обожать государя, которому служит, более чего-либо другого на свете, и все желания и привычки свои направит к тому, чтобы быть ему угодным.

На этом месте мессера Федерико нетерпеливо прервал Пьетро да Наполи:

– Ну, в таких придворных нынче недостатка нет! Сдается мне, в кратких словах вы набросали портрет изрядного лизоблюда.

– Вы ошибаетесь, – ответил мессер Федерико. – Лизоблюды не любят ни господ, ни друзей, а я призываю нашего придворного именно и прежде всего любить. Быть угодным тому, кому служишь, следовать его желаниям можно и без лизоблюдства, ибо я имею в виду те желания, которые разум-

ны и честны, или же такие, которые ни добры, ни злы, как, например, игра или какое-то занятие, увлекающее государя больше остальных. Пусть и придворный приспособится к такому занятию, даже если оно чуждо его собственной натуре, так чтобы каждый раз, видя его, государь чувствовал, что тот будет говорить ему о вещах, которые государю желанны. Это получится, если в придворном будет верное суждение о том, что угодно его государю, смышленость и предусмотрительность, чтобы уметь к тому приспособиться, и решимость сделать для себя приятным от природы ему неприятное. Приготовив себя таким образом, пусть он никогда не является перед государем ни сердитым, ни меланхоличным, ни слишком молчаливым – как бывает со многими, – и тогда кажется, будто они раздражены на своих господ, а это уже вовсе нетерпимо. Пусть не имеет привычки злословить, и прежде всего своих государей, что нередко бывает, так что подумаешь, будто дворы суть место какого-то бедствия: ибо те, что более облагодетельствованы государями и из убожества вознесены на высоту, постоянно жалуются на них и говорят о них дурное – что недостойно было бы не только со стороны этих баловней судьбы, но даже и тех, с кем обходились дурно. И да не будет в нашем придворном глупого самомнения, да не будет он разносчиком докучных сплетен; да не будет столь неосмотрителен, чтобы причинить досаду теми самыми словами, которыми хотел угодить; да не будет упрямцем и спорщиком, как некоторые, что словно только тем и тешатся,

чтобы досаждать и надоедать другому, как муха, и чье любимое занятие – нагло противоречить всякому без разбора. Да не будет он пустым и лживым болтуном, или хвастуном, или недалеким льстецом, но хранит скромность и сдержанность везде, а особенно в обществе, проявляя то почтение, то уважение, которое служителю подобает иметь в отношении господина. И да не делает, как многие, кто, встретившись с каким-либо сильным вельможей, если говорили с ним хоть раз, подходят к нему с развязным видом и по-компанейски, как если бы хотели обняться с кем-то из равных или оказать милость низшему себя. И пусть он почти никогда (разве что крайне редко) не просит у государя чего-либо для себя самого; иначе может случиться, что государь, не желая отказать напрямую, даст ему это с раздражением, что намного хуже. Прося же для других, пусть осмотрительно выбирает для этого время и просит о вещах достойных и разумных; и пусть, представляя просьбу, исключит все, что может вызвать неудовольствие государя, и ловко обойдет все трудности, так чтобы государю было легко пожаловать просимое; а если он и откажет, – чтобы не думалось ему, будто он сильно оскорбил того, кого обошел милостью. Ибо часто бывает, что господа, отказав в милости тому, кто ее назойливо добивался, думают, что столь настойчиво просивший о ней желал ее очень сильно, а не добившись, вероятно, затаит обиду. А внушив себе это, они начинают питать неприязнь к такому человеку и больше не могут взирать на него благосклонно.

XIX

Пусть наш придворный не пытается вместе со своим государем проникнуть в покои или секретные места, если его не просят, даже если он будет занимать высокое положение. Ибо часто государи в приватной обстановке любят говорить свободно и делать то, что им нравится, не желая, чтобы их при этом видели или слышали люди, которые могут их осудить; и это вполне разумно. А порицающие государей за то, что они берут с собой в покои людей, не обладающих другими достоинствами, как только умением услужить им лично, думаю, совершают ошибку: разве государи не имеют такого же права потешить свою душу, как мы – свою? И если придворный, привычный к обсуждению серьезных вещей, потом тайным образом будет допущен в покои, он должен надеть на себя другое лицо, отложив вещи серьезные до иного места и времени и со вниманием поддерживать беседу, приятную и желанную его государю, чтобы не помешать этой утехе его души. Но в этом, как и во всем другом, прежде всего пусть старается не досаждать и ожидает, пока ему будет оказана милость, а не домогается ее всеми средствами, как многие, столь до этого жадные, что, кажется, умрут, если не получат желаемого. Если же их по случаю постигнет немилость или они увидят, что государь благоволит к кому-то другому, они терзаются завистью так, что никак не могут этого скрыть; от-

чего становятся предметом всеобщих насмешек, и государи часто оказывают милость первому попавшемуся только ради того, чтобы их подразнить. И потом, получив какую-то милость, хоть немного поднимающую их над средним уровнем, до того этим опьяняются, что уже и радоваться не в силах; и, кажется, не знают, куда деть ноги или руки и готовы чуть ли не созывать весь честной народ, чтобы все на них смотрели и поздравляли с этим событием, как с чем-то небывалым, что не повторится больше никогда.

Нет, пусть не из этого сорта людей будет наш придворный. Пусть он любит милости, но не до такой степени их ценит, точно не может оставаться без них. А когда стремится к ним, пусть не выказывает, будто они для него являются чем-то невиданным или небывалым, и не дивится, если его удостоят им. И пусть не отвергает их, как некоторые, не принимающие их из чистого невежества, тем самым показывая окружающим, что сами себя сознают недостойными. Человеку подобает всегда как бы с долей неохоты принимать то, что выше его степени, не сразу на то соглашаясь и скромно отклоняя, подчеркивая при том, что он весьма ценит оказанную честь, и предоставляя случай государю предложить эту милость гораздо более настоятельно. Ибо чем с большим такого рода сопротивлением принимают милости, тем больше кажется дарующему их государю, что его высоко чтят; и оказываемая им милость будет тем бóльше, чем больше получающий ее ценит и чем большей честью для себя считает.

Такое-то благоволение и является истинным и надежным, и в таком случае человека чтят и наблюдающие со стороны. Ибо, коль скоро милости не выпрошены, всякий подумает, что они вызваны подлинной доблестью; и тем более будет в этом уверен, если их получению сопутствует скромность.

XX

Тут вставил слово мессер Чезаре Гонзага:

– Вы, кажется, украли это место из Евангелия, где говорится: «Когда тебя зовут на брак, придя, садись на последнем месте, чтобы пригласивший тебя подошел и сказал: Друг, сядь на место повыше; и будет тебе честь перед приглашенными»[190].

Засмеявшись, мессер Федерико сказал:

– Слишком большим святотатством было бы воровать из Евангелия; но вы, оказывается, лучше знаете Священное Писание, чем я думал.

И он продолжил:

– Обратите внимание, что большой опасности подвергают себя те, которые безрассудно прежде государя непрошеными вступают в разговор; и часто этот государь, чтобы посрамить их, не отвечает, отворачиваясь в другую сторону, а если и отвечает им, то каждый видит его досаду.

---

[190] Ср.: Евангелие от Луки, 14: 8, 10.

Словом, чтобы стяжать благосклонность государей, нет лучшего способа, чем заслужить ее. А видя другого награжденным за некое дело, не надо думать, что, подражая ему, обязательно получишь то же самое. Ибо не всякое дело одинаково подходит всякому человеку. Находится порой человек, от природы настолько ловкий на всякие остроты, что все, что ни скажет, вызывает смех, – и кажется прямо-таки рожденным для этого. А если кто-то другой, пусть даже очень талантливый, но серьезного склада, захочет делать то же самое, у него выйдет совершенно пресно и скучно, вызывая только тошноту у слушателя. И добьется он лишь того же, чего добился осел, который вздумал играть с хозяином, подражая собачке{191}. Итак, нужно, чтобы каждый, зная себя и свои силы, к этому и применялся и решал, чему подражать, а чему нет.

XXI

– Минуточку, – сказал Винченцо Кальмета. – Если я верно расслышал, вы, кажется, только что говорили, что лучший способ стяжать милости – их заслужить; и что придворному лучше ожидать их, чем самонадеянно искать. Я сомневаюсь в дельности этого правила; опыт, как мне кажется, уверяет в противоположном. Потому что в наше время навряд ли най-

{191} Басня Эзопа «Собака и хозяин».

дешь у государей фаворита, который не был бы самонадеян. Думаю, вы и сами можете назвать таких, кто, находясь в малом почете у своих государей, добился их расположения одной самонадеянностью; а вот такого, кто получил высокое положение скромностью, я лично не встречал. Если хотите, сами поразмыслите об этом на досуге; не думаю, что много таких припомните. А если рассмотрите один из самых блестящих дворов христианского мира, французский, найдете, что там всякий щедро облагодетельствованный полон превозношения, и не только перед другими, но даже перед самим королем.

– Вот уж этого не говорите! – энергично возразил мессер Федерико. – Именно во Франции хватает весьма скромных и учтивых дворян; правда, им свойственны некоторая свобода, простота, нецеремонность, но для них они естественны. И не надо смешивать это с самомнением; потому что с этой своей манерой они, смеясь и подтрунивая над высокомерными, весьма ценят тех, кто сочетает доблесть со скромностью.

Кальмета ответил:

– Хорошо, давайте посмотрим на испанцев: до чего уж, кажется, мастера придворного искусства! А много ли там найдете таких, которые бы и с дамами, и с благородными господами не были высокомерны, – куда более французов, хотя на первый взгляд кажутся великими скромниками? Но в этом у них тонкий расчет: ведь государи нашего времени осыпают своими милостями только имеющих подобные повадки.

XXII

– Нестерпимо слышать, мессер Винченцо, – ответил мессер Федерико, – что вы даете такую оценку государям нашего времени; ибо, напротив, многие из них любят скромность. Хотя я и не утверждаю, что ее одной достаточно, чтобы получить благоволение. Я скажу так: когда она сочетается с явными заслугами, то приносит честь обладающему ею; а если сама о себе молчит, то широко вещают о ней похвальные дела, которые выглядят намного более удивительными, чем если бы им сопутствовали превозношение и самонадеянность.

Не хочу отрицать, что многие испанцы высокомерны; но замечу, что по-настоящему уважаемые люди там, в большинстве, очень скромны. Есть и такие, которые до того замкнуты, что чересчур, сверх разумного, переходя некую принятую меру, избегают общения с людьми, так что их считают или слишком стеснительными, или слишком гордыми; таких я совершенно не хвалю и не люблю скромность столь сухую и черствую, что она уже переходит в грубость. Но пусть придворный, когда уместно, будет речист, а зайдет дело об отношениях между государствами, осмотрителен, и мудр, и достаточно рассудителен, чтобы уметь приноравливаться к обычаям стран, где ему случается бывать; в занятиях же повседневных пусть будет любезен и умеет поговорить о чем угодно. Но прежде всего пусть стремится всегда к благу, не

будет завистлив или злоязычен и не дерзает искать милости или благоволения порочным путем или дурными средствами.

– Уверяю вас, все остальные пути куда ненадежнее и длиннее, чем тот, который вы порицаете, – сказал Кальмета. – Потому что ныне, повторяю, государи любят только выбирающих такой путь.

– Не говорите так, – ответил мессер Федерико, – ибо это слишком явно свидетельствовало бы, что все государи нашего времени порочны и злы, а это неправда; ибо есть среди них и добрые. Но если наш придворный по воле судьбы окажется на службе у порочного и злонравного, пусть уйдет от него, как только об этом узнает, чтобы не испытать ту крайнюю скорбь, какую чувствуют все добрые, которые вынуждены служить злым.

– Надо молить Бога, – сказал Кальмета, – чтобы Он посылал добрых государей, потому что, когда мы их уже имеем, приходится терпеть их такими, каковы они есть. Ибо бесчисленные причины вынуждают придворного, коль скоро он пошел на службу к государю, не оставлять его; но несчастье заключено в самом начале; и придворные в таком случае оказываются в положении злополучных птиц, родившихся в дурной долине{192}.

{192} «Несчастна птица, что родилась в дурной долине». Старинная пословица, объясняемая так: «…привязанность к родному месту, даже если в нем плохо, не позволяет покинуть его, чтобы улучшить условия жизни» (Vocabolario degli accademichi della Crusca. T. V. Venezia, 1749. P. 135).

– Я так думаю, – сказал мессер Федерико, – что долг дороже любых соображений. Лишь бы рыцарь не оставлял своего господина, когда тот находится на войне или в каком-то бедствии, чтобы не подумали, что он гонится за удачей или что от него в этих обстоятельствах нет никакого толку. А во всякое другое время, полагаю, он имеет законное право и даже должен уйти с той службы, которая приносит стыд перед добрыми людьми. Ибо любой подумает, что если кто служит доброму государю, то и сам добр, а кто служит злому – тот зол.

XXIII

– Хорошо, – вступил в разговор синьор Лудовико Пио. – Я попросил бы вас разрешить мое недоумение: обязан ли рыцарь, покуда служит такому-то государю, повиноваться ему во всем, что он повелит, если даже это бесчестно и позорно?

– Мы никакому человеку не обязаны повиноваться в делах бесчестных, – ответил мессер Федерико.

– Так как же поступить? – снова спросил синьор Лудовико. – Если я буду состоять на службе у некоего государя, который относится ко мне хорошо и верит, что я сделаю для него все, что в моих силах, и он прикажет мне пойти убить человека или сделать еще что-то подобное, – должен я отказаться или нет?

– Ваш долг, – отвечал мессер Федерико, – состоит в том,

чтобы повиноваться вашему господину во всех делах, которые принесут ему пользу и честь, но не в тех, что причинят вред и стыд. Поэтому, если он прикажет вам совершить предательство, вы не только не обязаны это делать, но обязаны не делать, как ради вас самих, так и чтобы не быть пособником сраму вашего господина.

Однако многие вещи кажутся на первый взгляд добрыми, а на деле дурны, а многие кажутся дурными, а на деле добры. Поэтому позволительно бывает подчас ради службы своему господину убить не то что одного, а десять тысяч человек и сделать еще много всяких дел, которые тому, кто не рассмотрит их должным образом, покажутся дурными, но на самом деле не таковы.

– Вот-вот, скажите, ради Бога, хоть немного об этом, – подхватил синьор Гаспаро Паллавичино. – Научите нас, как отличать дела поистине добрые от тех, которые ими лишь кажутся.

– Простите, но я не хотел бы в это углубляться, – сказал мессер Федерико. – Это слишком долгий разговор. Давайте предоставим это вашему собственному разумению.

XXIV

– Тогда разрешите и мое недоумение, – попросил снова синьор Гаспаро.

– Какое же? – отозвался мессер Федерико.

– Вот какое. К примеру, мой господин обстоятельно и полно указал мне, что я должен сделать – в военном ли предприятии или в каком угодно другом. А когда я оказался на месте, мне подумалось, что, сделав больше или меньше указанного или вообще поступив иначе, я приведу дело к лучшему концу или добьюсь большей пользы для поручившего. Должен я руководиться прежде полученным приказом, ни в чем не выходя за его рамки, или поступать так, как мне кажется лучшим?

Мессер Федерико ответил:

– Относительно этого я бы сослался на пример Манлия Торквата, от излишнего чувства долга казнившего собственного сына{193}, если бы считал этот пример весьма похвальным, но я его таковым не считаю, хоть не решаюсь и порицать, идя наперекор общему голосу стольких веков. Ибо, без сомнения, очень опасно уклоняться от приказов старших, доверяя своему суждению больше, чем суждению тех, кому мы законно должны подчиняться. Ведь если какими-то судьбами наша мысль окажется ошибочной и дело кончится плохо, мы будем повинны и в ослушании, и в провале поручен-

---

{193} Тит Манлий Империоз Торкват (IV в. до н. э.) – римский военачальник, диктатор 363 г. до н. э. и консул 347, 344 и 340 гг. до н. э. Во время войны с латинами казнил сына за то, что последний, выехав в разведку во главе отряда всадников, вступил в бой с попавшимся навстречу латинским дозором. Несмотря на то что бой окончился победой римлян, за ослушание отец-консул приговорил сына к смерти, а потом похоронил с воинскими почестями (Тит Ливий. История Рима от основания города. VIII, 7).

ного предприятия, не имея чем оправдаться и без надежды на прощение; если же все выйдет так, как хотелось, надо возблагодарить судьбу и этим удовлетвориться. Однако таким образом вводится привычка мало уважать приказания старших. И по примеру того, у которого вышло хорошо (он, возможно, был и достаточно осмотрителен, и советовался с разумом, да и фортуна ему помогла), тысячи невежд и вертопрахов захотят самоуверенно поступать по своей воле в наиважнейших делах, показывая, будто они все знают и имеют власть отклоняться от приказаний государей, что совершенно отвратительно и часто становится причиной несчетных ошибок.

Полагаю, что в таких случаях надо тому, кого касается дело, неспешно рассмотреть и как бы положить на одну чашку весов благо и преимущества, на которые он рассчитывает, идя против приказа и надеясь на свой план, а на другую – зло и урон, которые могут последовать, если он поступит по-своему и по воле случая расчет не оправдается. И если он поймет, что ущерб в случае неудачи может быть больше и тяжелее, чем польза в случае удачи, то должен отказаться от собственного плана и выполнить до точки все, как поручено; и напротив, если польза, в случае удачи, будет большей, чем в случае неудачи – ущерб, тогда, полагаю, он вправе решиться на то, к чему склоняют разум и суждение, несколько уклонившись от точной формы приказа. То есть пусть поступает, как хорошие купцы, которые идут на небольшой риск

ради большой прибыли, но не на большой риск ради малой прибыли.

Я же хвалю тех, которые прежде всего сообразуются с нравом своего государя, следуя которому он и правит. Ибо, если нрав этот столь суров, как у многих из них, я бы не советовал никому, будь он моим другом, изменять хоть в малой части данный ему приказ, – чтобы не случилось с ним то же, что с одним отличным инженером-афинянином. Публий Красс Муциан, ведя войну в Азии и готовясь к штурму одного города, послал к этому инженеру запрос на приобретение одной из двух корабельных мачт, которые видел в Афинах, чтобы изготовить таран и пробить стену, причем указал, что выбирает бóльшую из них. Инженер, прекрасно разбиравшийся в предмете, знал, что бóльшая мачта для этого дела не подойдет, и, поскольку меньшая была легче в перевозке и лучше годилась для изготовления осадной машины, послал ее к Муциану. Тот, узнав, как все было, приказал доставить к нему этого бедного инженера и, спросив, почему тот его ослушался, не принял никаких доводов, которые тот приводил, но повелел раздеть его догола и забить розгами насмерть: ибо Муциану показалось, что инженер, вместо того чтобы слушаться, поучает его. Так что со столь суровыми людьми надо соблюдать большую осторожность.

XXV

Но отставим в сторону эти дела с государями и перейдем к общению с равными или с неравными в небольшой степени. К такому общению тоже необходимо относиться со вниманием, поскольку оно для нас более обычно, и мы чаще вступаем в него, чем общаемся с государями. Хотя есть глупцы, которые, даже будь с ними самый преданный друг, если встретят человека, лучше одетого, сразу прилипают к нему; а если потом попадется на пути одетый еще богаче, повторяют то же самое. А когда государь проходит по площади, или через церковь, или по какому-то другому публичному месту, такие, расталкивая людей локтями, пробираются к нему, чтобы оказаться рядом. И даже если им нечего сказать государю, все равно навязываются и разводят болтовню, смеются, хлопают в ладоши или бьют себя по голове, показывая, будто имеют к нему важное дело, чтобы народ видел, что они у государя в особой милости. Но поскольку такие люди считают достойным себя говорить лишь с государями, то и нам ни к чему удостаивать их разговора.

XXVI

– Если уж вы, мессер Федерико, упомянули тех, кото-

рые с такой охотой увязываются за людьми, хорошо одетыми, – сказал Джулиано Маньифико, – то, пожалуйста, скажите нам, каким образом должен одеваться придворный, какое платье ему более прилично и как следует ему заботиться об украшении всей своей внешности. Ибо в этом мы наблюдаем бесконечное разнообразие: кто одевается по-французски, кто по-испански, кто хочет казаться немцем; а ведь есть у нас и такие, что одеваются на турецкий манер; кто носит бороду, кто не носит. Так что хорошо бы уметь изо всей этой смеси выбирать лучшее.

Мессер Федерико сказал:

– Я не стал бы устанавливать иного правила в одежде, кроме того, чтобы человек придерживался обыкновения большинства. А поскольку, как вы говорите, это обыкновение весьма разнообразно и итальянцы очень любят наряжаться на чужой манер, думаю, что каждому позволительно одеваться по своему вкусу.

Но не знаю, какими судьбами получилось, что Италия не имеет, как всегда имела, костюма, который слыл бы именно итальянским. Ибо хотя с введением новых одежд те, прежние, кажутся весьма нелепыми, однако они были, может быть, знаком свободы, а эти новые стали предвестием рабства, – и это предвестие теперь явным образом исполнилось. И как пишется, что, когда Дарий годом раньше войны с Александром повелел изменить форму меча, который всегда носил на бедре, с персидской на македонскую, предсказате-

ли увидели в этом знак, что те, по чьему образцу Дарий изменил форму меча, придут и покорят Персию{194}. Так и замена итальянских одежд иностранными, мне кажется, означала, что народы, в чью одежду переоделись наши, придут подчинить нас своему игу, – что и оказалось сущей правдой. Теперь уже и нет такого народа, который бы не сделал нас своей добычей, – и вроде бы осталось мало что грабить, да охоты пограбить все никак не убывает.

XXVII

Но не будем углубляться в такие гнетущие разговоры; лучше поговорим об одежде нашего придворного. Я полагаю достаточным, чтобы она не отличалась от общепринятой и не противоречила роду его служения, а что до остального, лишь бы она нравилось тому, кто ее носит. Правда, я ни в какой части одежды не одобряю крайностей – как, например, французская одежда бывает слишком свободной, а немецкая слишком тесной. А наша пусть будет похожей хоть на ту, хоть на другую, только пусть ее приладят по фигуре и приведут в наилучший вид наши итальянские портные. Кроме того, мне по душе скорее одежда, близкая к степенной и серьезной, нежели к щегольской; в одежде черного цвета я нахожу больше изящества, чем в любой другой. А если и не

{194} Ср.: Квинт Курций Руф. История Александра Великого. III, 3, 6. Мессер Федерико приводит это место по памяти, с небольшими неточностями.

черная, то пусть все-таки в ней преобладают темные цвета. Это я и называю «одеваться обыкновенным образом»: потому что, конечно, поверх доспехов более уместны цвета светлые и яркие, а в праздник прилична одежда с украшениями, пышная и великолепная. Она же хороша для праздничных зрелищ, игр, маскарадов и тому подобного; ярко одетые люди привносят с собой некоторое оживление и веселье, что поистине прекрасно сочетается с блеском доспехов и увлекательностью турниров и игр. В остальное же время предпочитаю, чтобы она выказывала ту сдержанность, которая так идет испанцам; ведь внешнее часто свидетельствует о внутреннем.

– Лично мне до этого как-то мало дела, – сказал мессер Чезаре Гонзага. – Если благородный человек в остальном чего-то стоит, то одежда к его репутации ничего не прибавит и не убавит.

Мессер Федерико ответил:

– Верно. Но кто из нас, видя, как некий благородный человек разгуливает в костюме четырех разных цветов, или с множеством завязанных тесемок и лент, или с шнуровкой крест-накрест, не примет его за помешанного или за шута?

– Кто пожил хоть немного в Ломбардии, не сочтет его ни помешанным, ни шутом, – сказал мессер Пьетро Бембо, – потому что там все так ходят.

– Если там все так ходят, – откликнулась с улыбкой синьора герцогиня, – нечего их за это ругать. Поскольку это

считается у них столь же приличным и общепринятым, как у венецианцев носить рукава буфами, а у флорентийцев капюшоны.

– Я говорю сейчас о Ломбардии не больше, чем о любой другой стране, – возразил мессер Федерико. – В каждом народе есть люди глупые и благоразумные. Но если продолжить о том, что мне кажется важным в одежде, пусть костюм нашего придворного будет всегда чистым и ухоженным, имея в себе некую скромную элегантность, но не на женский или щегольской манер и без перекоса в ту или иную сторону, – вроде того, как видим, что многие до того усердны к прическе, что забывают обо всем остальном; другие озабочены одной лишь красотой своих зубов, или бороды, или сапог, или берета, или шапочки. Складывается впечатление, что те немногие вещи, о которых они заботятся, дал им поносить кто-то другой, зато все прочие, оставляемые в небрежении, – уже точно их собственные. Я очень советую нашему придворному избегать такого стиля в одежде и прибавлю, что каждому надо самому решить, кем он хочет казаться. Как он хочет, чтобы его оценивали, так пусть и одевается, чтобы по одежде его считали именно таким – не только знакомые, но и те, которые его ни в беседе не слышали, ни в деле не наблюдали.

XXVIII

– А мне кажется, – возразил синьор Гаспаро Паллавичино, – что не к лицу настоящим людям, да с ними этого и не бывает, оценивать человека по одежде, а не по словам и делам. Потому что многие обманываются этим; да и пословица не зря говорит, что не ряса делает монахом.

– Я же не про то говорю, что решающее суждение о качествах людей следует выносить именно по их костюму, – сказал в ответ мессер Федерико. – И не про то, что по одежде их узнаешь лучше, чем по словам и делам. Я говорю, что и одежда – немалое свидетельство о том, что в голове у человека, хотя подчас оно бывает и неверным. И не только одежда, но все повадки и привычки, кроме дел и слов, создают суждение о качествах того, у кого мы их наблюдаем.

– А что еще вы укажете как основание для нашего суждения, кроме слов и дел? – спросил синьор Гаспаро.

– Вы уж какой-то слишком изощренный логик, – ответил мессер Федерико. – Хорошо, я объясню, что имею в виду. Есть дела, которые остаются после того, как они сделаны: построенные здания, написанные книги и так далее. А другие не остаются – как те, которые я имею в виду, поэтому я, применительно к теме, не называю «делами» то, как человек ходит, смеется, и тому подобное. Однако все это зачастую дает представление, по внешности, о том, что внутри.

Скажите-ка, разве не вы составили суждение о том нашем приятеле, о котором мы с вами говорили нынче утром, что он человек тщеславный и несерьезный, едва лишь увидев, как он прогуливается, крутя головой во все стороны, весь изгибаясь и благосклонным взглядом приглашая каждого встречного снимать перед ним шляпу? А когда вы видите, как кто-то уставил взгляд в одну точку, с бессмысленными глазами, как остолбенелый? Или когда кто смеется поидиотски, как те зобатые бессловесные, что живут в горах близ Бергамо?{195} Если такой человек даже ничего больше не делает и не говорит, разве вы не сочтете его за полную бестолочь? Видите теперь, что эти повадки и привычки, которые я сейчас не причисляю к действиям, помогают в немалой степени распознать человека?

XXIX

Другая вещь, способная как прибавить много к репутации, так и отнять от нее, – это, по-моему, выбор друзей, с которыми мы общаемся особенно близко, ибо нет оснований сомневаться, что у связанных тесной дружбой и неразлучным общением сходны желания, душа, суждение и ум. Кто любит общество людей невежественных или дурных, того тоже считают невежественным или дурным; и напротив,

{195} См. примеч. 71.

того, кто любит общаться с добрыми, мудрыми и рассудительными, тоже считают таким; ведь, кажется, и в силу самой природы всякая вещь охотно сходится с подобной себе. Поэтому, как я думаю, надо очень остерегаться завязывать такую дружбу; ведь когда познакомишься с одним из пары закадычных друзей, сразу представишь, что и второй ему под стать.

Мессер Пьетро Бембо заметил на это:

– Завязывая столь задушевную дружбу, о какой вы говорите, надо, как мне кажется, быть очень осторожным не только ради заботы о репутации, но и потому, что нынче совсем мало настоящих друзей. Не верю я, что еще не перевелись на свете Пилады и Оресты{196}, Тесеи и Пирифои{197}, Сципионы и Лелии{198}. Но какими-то злыми судьбами то и дело случается, что два друга, много лет хранившие между собой самую сердечную привязанность, в конце концов предают один другого – или по злобе, или от зависти, или от лег-

---

{196} Орест, сын аргосского царя Агамемнона, и его двоюродный брат и верный друг Пилад – герои ряда греческих исторических мифов, а также трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида.

{197} Тесей, царь Афин, и Пирифой, царь племени лапифов, изображаются в греческой мифологии как неразлучные соратники в богатырских подвигах, вплоть до совместного похода в царство мертвых.

{198} Речь идет о двух парах одноименных близких друзей, известных в истории Римской республики: 1) Гай Лелий (ум. после 160 г. до н. э.) и Публий Корнелий Сципион Африканский Старший (235–183 гг. до н. э.), соратники по Второй Пунической войне; и 2) сын вышеупомянутого Гай Лелий Мудрый (см. примеч. 107) и Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский (см. примеч. 108).

комыслия, или по какой другой недоброй причине: каждый обвиняет другого, а виноваты, возможно, оба.

В моей жизни не раз случалось, что меня предавал тот, кого я больше всех любил, веря, что и он меня любит больше, чем кого-либо другого. И не раз я говорил сам себе, что благом будет не доверяться ни одному человеку на свете и не давать себя в добычу другу – как бы он ни был тебе дорог, как бы ты его ни любил, – без опасений разделяя с ним все свои мысли, как с самим собой. Ибо в душах у нас столько тайников, столько темных нор, что непосильно для человеческого ума предусмотреть все таящиеся в них обманы. Так что полагаю правильным любить одного больше, другого меньше, делать для одного больше, для другого меньше, по мере достоинств и добродетели каждого, – но не клевать на эту сладкую приманку дружбы, чтобы не пожалеть потом.

XXX

– Поистине, – отозвался мессер Федерико, – для человеческого сообщества будет куда большей потерей, чем приобретением, если оно лишит себя той высшей ступени дружбы, которая, по-моему, дает нам столько блага, сколько имеет их в себе вся наша жизнь. И я никоим образом не могу согласиться с вами, будто это правильно; напротив, мог бы убедить вас яснейшими доводами, что без этой совершенной дружбы люди будут несчастнее всех других живых су-

ществ. Если иные, как нечестивцы, оскверняют святое имя дружбы, это не причина вырвать его из наших душ и по вине злых лишить столь великого счастья добрых. И полагаю, что среди нас есть не одна пара друзей, любовь между которыми нерасторжима и чужда всякого обмана, и тем, как они хранят ее до смерти в согласии своих воль, они не ниже только что упомянутых вами древних. А так бывает, когда, кроме наклонности, возникающей от стечения звезд, человек выбирает себе друга, подобного ему по своим привычкам: я имею в виду дружбу между благими и добродетельными, ибо дружба между злыми – это не дружба. И я считаю за лучшее, когда такой, столь крепкий, узел связывает не более чем двоих, ибо иначе это может быть опасным: ведь, как известно, в музыке три инструмента настроить вместе труднее, чем два. Пусть наш придворный имеет одного первейшего и сердечного друга, если возможно, такого рода, о котором мы говорили, – а уж за ним любит, почитает, уважает всех других, по мере добродетели и достоинств, и всегда заботится о том, чтобы общаться скорее с людьми благородными, которые пользуются уважением и слывут добрыми, нежели с низкими и дюжинными, – да стараться и самому иметь от добрых людей любовь и почтение. А это сбудется, если он учтив, добросердечен, великодушен, приветлив и приятен в дружеском общении, обязателен и усерден в услугах, если заботится о пользе и чести друзей как при них, так и в их отсутствии, если переносит их природные и простительные

недостатки, не порывая с ними по мелочам, а у себя исправляет те недостатки, на которые ему доброжелательно указывают; если не рвется вперед других в погоне за первыми и почетными местами и не поступает как иные, кто весь мир презирает и пытается с назойливой суровостью каждому навязать свои законы; и, кроме того, что склонны к спорам по малейшему поводу и в самые неподходящие моменты, порочат все, чего не могут сделать сами, да еще и постоянно ищут причин пожаловаться на друзей, – что уже и вовсе невыносимо.

XXXI

Как только мессер Федерико умолк, к нему снова обратился синьор Гаспаро Паллавичино:

– Я попросил бы вас остановиться подробнее на этом общении с друзьями, о котором вы пока сказали мало, не вдаваясь в частности, как бы походя.

– Как бы походя? – поднял брови мессер Федерико. – Может быть, вы хотите, чтобы я вам и все слова подсказал, которые надо при этом говорить? Вам не кажется, что об этом уже достаточно рассуждали?

– Кажется, что достаточно, – отвечал синьор Гаспаро. – И все-таки хотелось бы услышать некоторые частности относительно общения с мужчинами и с женщинами; это представляется мне очень важным, если учесть, что при дворах

бóльшая часть времени проходит именно в этом общении. И если оно будет однообразным, то быстро приестся.

– Я полагаю, – заметил мессер Федерико, – что мы вложили в нашего придворного познание стольких вещей, что он прекрасно сможет разнообразить беседу, приноравливаясь к качествам тех людей, с которыми придется общаться. Ведь мы же подразумеваем, что он одарен рассудительностью и, руководствуясь ею, своевременно обращается или к серьезным вещам, или к празднествам и играм.

– Так к каким же играм? – настаивал синьор Гаспаро.

Мессер Федерико, рассмеявшись, ответил:

– Давайте спросим совета у фра Серафино, он каждый день находит новые.

– А если кроме шуток, – сказал синьор Гаспаро, – считаете ли вы предосудительным для придворного играть в карты и в кости?

– Лично я – нет, – сказал мессер Федерико, – разве что если кто-нибудь, слишком увлекаясь ими, ради них оставляет в небрежении дела большей важности или играет, только чтобы выиграть деньги, ради этого обманывая партнера, а когда проигрывает, выказывает такую скорбь и горе, что можно счесть его скрягой.

– А что вы скажете о шахматах? – спросил мессер Гаспаро.

– Это, несомненно, развлечение благородное и умное, – ответил мессер Федерико. – Но у него есть, на мой взгляд, один-единственный недостаток: существует опасность овла-

деть им слишком хорошо. От того, кто хочет в совершенстве овладеть шахматным мастерством, оно требует столько времени и усердия, сколько понадобилось бы для изучения какой-нибудь почтенной науки или совершения какого-либо другого важного дела. А в результате всех усилий он не умеет ничего, кроме игры. Это искусство, в котором – удивительное дело! – быть посредственным похвальнее, чем совершенным.

Синьор Гаспаро возразил:

– Знаю многих испанцев, которые превосходно владеют и этой, и многими другими играми, однако не прилагают к ним большого усердия и не оставляют ради них других дел.

– Уж поверьте мне, что прилагают, – отвечал мессер Федерико, – только скрытно. Но другие игры, о которых вы упомянули, кроме шахмат, – они, пожалуй, не лучше многих виданных мной ничтожных развлечений на потеху толпы. И по-моему, не заслуживают иной похвалы или иной награды, чем данная Александром Великим тому, кто, с дальнего расстояния метая бобы, мастерски насаживал их на кончик иголки[199].

---

[199] Античные источники, описывающие этот эпизод, нам неизвестны. Поэт Франческо Берни (1497/98–1537) кратко пересказывает его в своем «Диалоге против поэтов», анонимно напечатанном в 1526 г., с некоторыми отличиями от варианта Кастильоне (у Берни это «арбалетчик, раз за разом метко попадающий в боб»). Якобы Александр послал этому умельцу в награду мешок бобов со словами: «Это чтобы у тебя было на что тратить время твоей жизни».

XXXII

Но оттого, вероятно, что фортуна имеет большую власть над мнениями людей, подчас приходится видеть, как дворянин с самыми прекрасными качествами, щедро одаренный природой, находится в малом благоволении у своего господина и, что называется, ему «не по масти», причем без всякой разумной причины. В самом начале, когда он только впервые появится в присутствии государя и еще ни с кем не знаком, хотя он и остроумен, и скор в ответах, и хорош в жестах, манерах, словах, во всем, что нужно, – государь показывает всем видом, что ценит его невысоко, а то и может даже как-то унизить. Остальные сразу начинают подыгрывать воле государя; и вот уже никто не считает новичка человеком стоящим, не ценит, не уважает, не смеется его шуткам, ни во что не ставит его мнение; зато все пускаются высмеивать его и травить. И ничем этому бедняге не помогут ни его разумные ответы, ни то, что он все схватывает на лету, ибо его приравняют к пажам – так что, будь он даже самым доблестным человеком на свете, он не сможет ничего поделать, но останется только мишенью насмешек. И напротив, если государь выкажет благосклонность к какому-нибудь последнему невежде, ничего не умеющему ни сказать, ни сделать, то часто привычки и повадки этого человека, сколь угодно глупые и нелепые, каждый начинает хвалить с рукоплеска-

ниями и восторгом, и, кажется, весь двор им восхищен, почитает его, все с готовностью смеются его остротам и шуткам, грубым и лишенным соли, скорее вызывающим тошноту, чем смех. Настолько косны и упрямы люди во мнениях, происходящих от расположения или немилости государей.

Пусть же наш придворный, сколь возможно, кроме своей доблести, пользуется и смекалкой, и хитростью; и всегда, когда ему надо прибыть в новое место, где его пока еще не знают, постарается, чтобы доброе мнение о нем шло впереди него, извещая, что в других местах он был в чести у тамошних государей, у дам и у рыцарей. Ибо та его слава, что складывается из суждений многих, производит некое твердое мнение о доблести, которое затем, находя души людей расположенными и подготовленными, без труда поддерживается и возрастает. А кроме того, не придется чувствовать досаду, которая у меня каждый раз возникает, когда меня спрашивает то один, то другой, кто я, откуда и как меня зовут.

XXXIII

– Не знаю, насколько это способно помочь, – возразил мессер Бернардо Биббиена, – поскольку со мною, и уверен, что и со многими другими, бывало не раз, что я, еще не видев такую-то вещь, воображал в душе, со слов разумных людей, что-то весьма совершенное, но потом, увидев, находил

ее ничтожной – и надолго оставался в глубоком разочаровании. А случалось это лишь оттого, что я сильно верил молве и рисовал у себя в душе целый образ, а потом, когда сопоставлял его с истиной, то пусть даже подлинная вещь была велика и превосходна, – по сравнению с тем, что я себе воображал, она казалась мне слишком малой. Боюсь, так может получиться и с нашим придворным. И не знаю, хорошо ли поощрять такие ожидания, распуская впереди себя подобную славу; ибо души людей зачастую воображают себе то, чему невозможно соответствовать, и в результате больше теряешь, чем приобретаешь.

Мессер Федерико сказал на это:

– Вещи, которые вам и многим кажутся куда меньшими, чем слава о них, в большинстве относятся к тем, о которых наше око судит по первому взгляду. Как если вы никогда не были в Неаполе или в Риме, то, слыша разговоры о них, вообразите себе куда больше, чем, возможно, то, что окажется перед вашими глазами. Но с качествами людей так не бывает, ибо снаружи видно лишь меньшее. Поэтому если в первый день, слушая рассуждения некоего дворянина, вы не найдете в нем тех достоинств, какие воображали прежде, ведь не лишите вы его тут же вашего доброго мнения, как в тех вещах, которые глаз оценивает сразу. Нет, вы будете ожидать день за днем, не обнаружится ли в нем какая-то скрытая добродетель, держась того впечатления, что возникло у вас изначально со слов многих. И потом, когда он проявит это каче-

ство (чего я и ожидаю от нашего придворного), его репутация будет ежечасно находить для вас подтверждение в его делах и вы всегда будете держать в мыслях что-то большее того, что видите.

XXXIV

Конечно, нельзя отрицать, что первые впечатления имеют огромную силу и что нам нужно быть в них очень осторожными. И чтобы вы поняли, насколько это важно, расскажу вам один случай.

В свое время знал я одного дворянина, который хотя имел довольно приятный вид, скромные манеры, а при этом был и хорошим воином, но не был ни в одном из этих качеств настолько превосходен, чтобы не нашлись многие ему равные и даже превосходящие его. И случилось так, что по воле судьбы одна женщина горячо его полюбила. Эта любовь росла день ото дня, ибо молодой человек выказывал ответное чувство; а поскольку у них не было способа поговорить наедине, женщина, слишком увлеченная страстью, открыла свое желание другой женщине, через которую надеялась что-то устроить. Та женщина не была ниже первой ни благородством, ни красотой. И вот, услышав столь пылкие речи об этом молодом человеке, которого она никогда не видела, и зная, что ее подруга, известная ей и сдержанностью, и благоразумием, безоглядно в него влюблена, она тут же вообра-

зила, будто он самый красивый, умный, порядочный – словом, самый достойный любви мужчина, какой только может быть на свете. И таким образом, не видя его, настолько горячо в него влюбилась, что не ради подруги, а ради себя самой стала делать все, чтобы приобрести его, добившись от него ответной любви. Что и удалось без большого труда, ибо, поверьте, она была скорее из тех, чьей благосклонности ищут, чем искала ее сама.

Теперь слушайте, что было дальше. Через какое-то время случилось, что письмо, которое написала эта вторая женщина своему возлюбленному, попало в руки еще одной женщине, редкостной красавице, тоже весьма знатной и обходительной. И она, как большинство женщин, любопытная и жадная до секретов, вскрыла это письмо и увидела, что оно написано с величайшей любовью. И нежные и полные огня слова, которые она прочла, сначала подвигли ее к сочувствию (ибо она прекрасно знала и кем послано письмо, и кому послано), но потом взяли над ней такую силу, что, вращая их в уме и размышляя, каков должен быть внушивший той женщине столь сильную любовь, она вскоре влюбилась и сама, – то есть письмо произвело на нее воздействие большее, чем если бы тот молодой человек сам послал ей любовное признание. И как случается, что яд, подложенный в блюдо государю, убивает первого, кто его попробует, так и эта бедняжка, из-за того что была слишком жадной, выпила любовный яд, приготовленный для другого.

Что осталось сказать? Дело получило огласку, и вышло так, что многие женщины, кроме названных, кто из соперничества, кто из подражания, употребили все искусство, все старание, чтобы добиться любви этого человека и некоторое время прямо-таки рвали его друг у дружки из рук, как мальчишки черешню. А все произошло от первого мнения женщины, узнавшей, как его любит другая.

XXXV

Синьор Гаспаро Паллавичино, смеясь, ответил:

– Вы, пытаясь привести разумные доводы в пользу вашего мнения, выставляете передо мной женщин, которые в большинстве поступают помимо всякого разума. И если договорите все до конца, этот ваш любимец столь многих женщин на самом деле, вероятнее всего, окажется невеждой и ничтожеством. Ибо они обычно привязываются к худшим и, как овцы в стаде, делают то же, что, как они видели, сделала первая из них, хорошее или дурное. К тому же они так завидуют друг дружке, что, будь он хоть чудовищем, и тогда бы они желали его похитить одна у другой.

Тут многие, почти все, бросились наперебой возражать синьору Гаспаро, но синьора герцогиня повелела всем молчать.

– Я позволила бы дать вам ответ, если бы ваши дурные слова о женщинах не были столь чужды истине, что долж-

ны лечь бременем стыда не на них, а скорее на говорящем это. Но не хочу, чтобы вас избавили от этого вашего дурного обычая, опровергая всею силой возможных доводов. Нужно, чтобы за вашу провинность вы понесли тяжелейшую кару – дурное мнение, которое составят о вас все, слышавшие эти ваши речи, – сказала она, впрочем с улыбкой.

– Не следует говорить, синьор Гаспаро, – сказал мессер Федерико, – что женщины столь чужды разума, даже если подчас их может больше подвигнуть к любви суждение других, чем свое собственное. Ведь и государи, и многие мудрые люди часто делают ровно то же; по правде сказать, и вы сами, да и все мы, даже в этот самый момент, верим больше мнению других, чем собственному. Например, недавно тут нам представили, под именем Саннадзаро{200}, несколько стихов, и они всем показались превосходными, им удивлялись, их громко хвалили; потом, когда обнаружилось, что они написаны другим, их тут же разжаловали и сочли хуже посредственных! В другой раз в присутствии синьоры герцогини пропели мотет, и он никому не понравился, никто не похвалил его, пока не выяснилось, что это сочинение Жоскена де

{200} Якопо Саннадзаро (1458–1530) – неаполитанский поэт. Известен прежде всего как автор пасторального романа-поэмы «Аркадия», имевшего чрезвычайный успех у читателей Европы с конца XV по XVIII в. Много писал как на вольгаре, так и на латыни (цикл «Рыбацкие эклоги», поэма «О рождении Девы»). Отзвук Саннадзаро различим в поэзии самого Кастильоне; не исключено, что он говорит о собственных стихах.

Пре[201]. Но какое вам привести еще более ясное свидетельство о силе мнения? Напомнить, как вы сами, пробуя одно и то же вино, в первый раз назвали его отличным, а во второй – абсолютно безвкусным? Только потому, что вас убедили, будто вы пьете два разных вина – одно с Генуэзской Ривьеры, а другое из здешних мест. И когда уже открылась ошибка, вы все никак не хотели поверить, – так крепко утвердилось в вашем уме ложное мнение, принятое, заметим, с чужих слов.

XXXVI

Поэтому и должен придворный заботиться о том, чтобы с самого начала произвести доброе впечатление, сознавая, как бывает вредно, а то и смертельно опасно впасть в противоположное. И такая опасность грозит более других тем, кто слишком уж стремится быть забавным, надеясь тем самым приобрести некую свободу, которая позволит им делать и говорить что ни попало, не задумываясь. Но подчас эти молодцы попадают в неловкое положение и, не зная, как выпутаться, пробуют помочь себе, обратив все в смех; однако делают это настолько неуклюже, что лишь наводят тоску, оставляя тех, кто их видит и слушает, совершенно холодными. А ино-

[201] Жоскен де Пре (ок. 1450–1521) – выдающийся французский композитор; в начале 1480-х гг. служил при дворе Людовика XI, а затем до 1504 г. при итальянских дворах (Милан, Рим, Феррара). Окончил жизнь в сане настоятеля собора в Конде-сюр-л'Эско (Франция).

гда они, думая, что это остроумно и забавно, пускаются говорить в присутствии весьма знатных дам, и даже самим этим дамам, сальные и бесстыдные слова; и чем больше вводят их в краску, тем больше гордятся собой как умелыми придворными, безмерно веселые и довольные прекрасным качеством, которым они, по собственному мнению, обладают. Но ничто другое не побуждает их к такому скотству, как желание прослыть «своим парнем» – имя, которое одно лишь кажется им похвальным, так что они гордятся им как никаким другим, а чтобы получить его, городят самые гнусные и позорные дикости на свете. Им ничего не стоит столкнуть другого с лестницы, хватить поленом или кирпичом по почкам, бросить горсть пыли в глаза, столкнуть лошадь товарища в канаву или вниз с какого-нибудь склона. Или за столом: плеснуть в лицо супом или подливой, кинуть кусок желе – и все ради смеха. А кто искусней в этих делах, тот сам себя считает лучшим придворным, образцом галантности, заслуживающим великой славы. И когда они зазывают какого-нибудь благородного человека разделить их забавы, а тот отказывается принять участие в этих скотских шутках, говорят, что он слишком умничает и «поучает» и, стало быть, «не свой парень». Но бывает и хуже. Заключают пари и ставят на спор деньги, обещая их тому, кто съест нечто самое тошнотворное и зловонное, и находят столь отвратительное для человеческих чувств, что без сильнейшего омерзения и упомянуть это невозможно.

XXXVII

– Что же это такое? – поинтересовался синьор Лудовико Пио.

– Пусть вам расскажет маркиз Фебус, который не раз видывал это во Франции. А может, с ним и самим такое случалось, – отвечал мессер Федерико.

– Нет, я не видал во Франции ничего такого, чего бы не делали в Италии, – отозвался маркиз Фебус. – Но вот все, что есть хорошего у итальянцев в одежде, в празднествах, пиршествах, военных делах и в остальном, что прилично придворному, взято у французов.

– Я не говорю, что среди французов нет рыцарей с самыми приличными и скромными манерами; и сам среди них знаю многих, достойных всякой похвалы. Но есть и такие, что не очень-то следят за своим поведением. А вообще говоря, думаю, что с итальянцами более сходятся своими повадками испанцы, нежели французы; ибо свойственная испанцам спокойная серьезность мне кажется нам, итальянцам, куда более подходящей, чем та бойкая живость, по которой француза узнаешь почти в любом жесте. В них она не раздражает, но даже кажется приятной, ибо настолько присуща им от природы, что в ней не видится ничего нарочитого. Но есть много итальянцев, которые старательно пытаются подражать этой манере – и лишь приучаются при разговоре тря-

сти головой, грубо и неловко раскланиваться, а гуляя по городу, шагать так быстро, что за ними не поспевают слуги. Им кажется, что они выглядят при этом настоящими французами, столь же раскованными; только редко это им удается – разве что тем, что выросли во Франции и с детства усвоили эту манеру.

С детства, кстати, надо учиться и языкам – что я считаю для придворного очень похвальным, – особенно испанскому и французскому, поскольку и с одним, и с другим народом нам в Италии часто приходится иметь дело, да и сходство они имеют с нами больше, чем любые другие народы. И у обоих этих государей, поскольку они сильнее всех на войне и блистательнее всех в мирные дни, дворы всегда полны благородных рыцарей, которых они рассылают по всему свету; уметь общаться с ними нужно и нам.

XXXVIII

Сейчас я не хочу слишком подробно распространяться о том, что и так хорошо известно: о том, например, что наш придворный не должен предаваться обжорству и пьянству, или давать волю какой-либо дурной привычке, или быть грязным и неопрятным в быту, с повадками деревенщины, которые и за тысячу миль напоминают о мотыге и плуге. Ибо человек такого сорта не только не имеет надежды стать хорошим придворным, но и дела ему никакого не поручишь,

разве что овец пасти.

А в заключение скажу: да, хорошо было бы нашему придворному в совершенстве уметь все, что мы сочли приличным для него, – да так, чтобы все возможное давалось ему легко и все бы ему удивлялись, а он – никому. Но чтобы, однако, это не было неким гордым и презрительным равнодушием, как у некоторых, нарочито выказывающих, будто им ничто не дивно в делах других людей; ибо они наперед уверены, что сами сделали бы гораздо лучше, и поэтому презрительно молчат, не считая их достойными разговора, как бы подавая этим знак, будто никто им не равен и даже не способен постигнуть глубину их познаний. Пусть наш придворный избегает этих отвратительных привычек и сочувственно и доброжелательно хвалит добрые дела других; и даже если чувствует себя достойным восхищения и далеко превосходящим всех остальных, пусть отнюдь не выказывает такого мнения. Но поскольку в человеческой природе столь полные совершенства встречаются крайне редко, а пожалуй что и никогда, человеку, сознающему свой недостаток в чем-либо, не должно терять ни веру в себя, ни надежду подняться на высокую ступень, даже если он не может достичь того полного и высшего совершенства, к которому стремится. В каждом искусстве есть, кроме первой, и другие достославные ступени; и кто по-настоящему стремится к вершине, уж до середины-то горы, как правило, доходит. И если наш придворный окажется замечателен в каком-то деле, кроме воен-

ного, пусть ищет за это одобрения и чести, но будет в этом сдержанным и рассудительным, умело и своевременно привлекая внимание окружающих и показывая то, в чем считает себя мастером, – но без назойливости, а будто невзначай, скорее по просьбе других, чем по своему желанию. И все, что соберется он показать или сказать, пусть обдумывает заранее, ко всему готовится; но выглядеть все должно так, будто делается или говорится вдруг. А предметов, в которых сознает свою посредственность, пусть касается разве что вскользь, не погружаясь в них слишком, но так, чтобы можно было поверить, будто он понимает в них гораздо больше, чем выказывает, – подобно некоторым поэтам, которые затрагивали и тонкости философии или других наук, хотя разбирались в них плохо. Но тем, в чем он сознает себя полным профаном, пусть вовсе никогда не занимается и не ищет от этого никакой славы; даже, если нужно, пусть откровенно признается, что ничего в них не смыслит.

XXXIX

– А вот Николетто поступил противоположно, – сказал Кальмета. – Он был превосходнейшим философом, но в законах понимал не больше, чем умел летать[202]. И когда по-

[202] Николетто Вернья (ок. 1420–1499) – итальянский философ, последователь Аверроэса (Ибн Рушда), андалусского философа XII в., астролог и медик. Долгое время преподавал в Падуанском университете. Рассказанный случай по-

деста́{203} Падуи решил поручить ему лекции о праве, он не захотел, даже убеждаемый многими учеными, разочаровать его и честно признаться, что не разбирается в этом. Он всегда говорил, что не согласен в этом вопросе с Сократом и считает недостойным философа говорить, что он чего-либо не знает{204}.

– Я не к тому веду, чтобы придворный сам от себя, никем не спрошенный, твердил о себе, что чего-то не знает, – ответил мессер Федерико. – Ибо мне неприятна такая глупость: оговаривать и принижать самого себя; и я смеюсь над людьми, которые безо всякой необходимости, с охотой рассказывают о себе вещи, которые, даже если случились не по их вине, бросают на них некую тень позора, – как делал один всем вам известный рыцарь, который каждый раз, когда при нем поминали сражение под Пармой с королем Карлом, тут

хож на анекдот, вышучивающий важные постулаты учения аверроистов: 1) тезис о единстве интеллекта как общего достояния человеческого рода и 2) первенство наук о природе перед гуманитарными науками.

{203} Подеста – глава городского управления, наместник Венецианской республики, под властью которой находилась Падуя.

{204} В платоновской «Апологии Сократа» читаем отзыв Сократа об одном знаменитом афиняне, слывшем виликим мудрецом: «…Этот муж только кажется мудрым и многим другим, и особенно самому себе, а чтобы в самом деле он был мудрым, этого нет; и я старался доказать ему, что он только считает себя мудрым, а на самом деле не мудр. От этого и сам он, и многие из присутствовавших возненавидели меня. Уходя оттуда, я рассуждал сам с собою, что этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего в совершенстве не знаем, но он, не зная, думает, что что-то знает, а я коли уж не знаю, то и не думаю, что знаю» (21c – d / Пер. М. Соловьева).

же начинал говорить, каким именно образом он сбежал с поля боя{205}, – и казалось, что в тот день он ничего другого не делал, не видел и не слышал. Рассказывая об одном славном турнире, этот рыцарь всегда вспоминал, как свалился с лошади; а еще часто в разговорах прямо-таки искал повода вспомнить, как однажды ночью пошел на свидание с женщиной, а его изрядно попотчевали палкой. Пусть наш придворный ни за что не болтает о себе такого вздора, а когда ему будет предложено проявить себя в деле, в котором он вовсе не мастер, пусть отбивается от него как может. А если настаивают, пусть ясно даст понять, что не знает этого дела, прежде чем брать на себя такой риск. И так он избежит осуждения, которого ныне заслуживают многие, которые, Бог знает по какому извращению чутья или неразумию, бросаются делать то, в чем не смыслят, оставляя то, что знают.

К примеру, мне знаком один превосходнейший музыкант, который, оставив музыку, ушел с головой в сочинение стихов, считая себя в этом деле каким-то великим; над стихами его все потешаются, а музыкальное мастерство он расте-

---

{205} Имеется в виду сражение при Форново, под Пармой (1495), французского войска во главе с королем Карлом VIII, возвращающегося из своего итальянского похода, против войск Венецианской республики и ее союзников – герцогств Милана и Мантуи. Бой шел с переменным успехом, пока наконец французы не ударили решительно по правому флангу противника, вызвав в итальянских рядах паническое бегство. (Этот момент, вероятно, и запомнился знакомому мессера Федерико.) Битву, почти уже было проигранную Лигой, свело к «ничьей» удачное нападение миланских конников на королевский лагерь, в результате которого Карл VIII едва избежал плена.

рял. Другой, будучи одним из лучших на свете художников, презрев искусство, в котором ему вряд ли найдешь равного, взялся за изучение философии и имеет в этом столь странные теории и такие небывалые химеры, какие изобразить не под силу всему его живописному искусству[206]. И подобных примеров без счета. А есть такие, что, сознавая свое высокое мастерство в одном, основным делом делают другое, в котором они, впрочем, тоже не профаны; но каждый раз, когда им выпадает случай показать себя в том деле, в котором они чувствуют себя мастерами, делают это играючи; и окружающие, видя, как сильны они в том, что не является их главным делом, верят, что уж в главном-то их мастерство еще намного выше. Такая смекалка, если ей сопутствует благоразумие, по-моему, совершенно не порок.

XL

Синьор Гаспаро Паллавичино ответил:

– Мне это кажется не смекалкой, но прямым обманом; а тому, кто хочет быть порядочным человеком, думаю, не к лицу обманывать.

– Это скорее не обман, а некоторое приукрашивание того, что человек делает, – сказал мессер Федерико. – А если даже обман, то не предосудительный. Вы же не скажете, что,

[206] Речь, несомненно, идет о Леонардо да Винчи, чьи научные штудии и инженерные проекты расценивались современниками как чудачества.

когда двое бьются на турнире, тот, кто побил товарища, обманул его! Он побил, потому что искуснее в бою. Или, скажем, у вас есть драгоценный камень, очень красивый и без оправы; но когда он попадет в руки хорошего ювелира, который, поместив в оправу, сделает его еще прекраснее, вы же не скажете, что ювелир обманывает глаза тех, кто любуется этим камнем! И даже если это обман, он заслуживает похвалы, ибо, руководимые добрым рассуждением и искусством, руки мастера весьма часто придают еще большую красоту и изящество слоновой кости, или серебру, или прекрасному камню, оправляя его в чистое золото. Поэтому не будем говорить, что искусство – или «обман», если вам угодно его так называть, – заслуживает какого-то порицания. И нет ничего неприличного в том, когда человек, сознающий себя сто́ящим в каком-то деле, умело ищет случая показать себя в нем и так же скрывает те свои стороны, которые кажутся ему менее похвальными, – но и то и другое делает с некой осторожной маскировкой. Не помните ли, как король Ферранте{207} при любой возможности, словно невзначай, раздевался до жилета, зная, что хорошо сложен? Зато он, поскольку знал, что руки его не так хороши, редко или почти никогда не снимал перчаток? И мало кто замечал, что он делает это преднамеренно. Еще, припоминается, я где-то читал, что Юлий Цезарь охотно носил лавровый венок, чтобы прикрыть лыси-

{207} Неаполитанский король Ферранте II, см. примеч. 24. Повышенное внимание молодого короля к своему внешнему виду отмечали и другие современники.

ну[208]. Но во всех таких способах нужно быть очень осмотрительным и разборчивым, чтобы не выйти из границ уместного; ибо нередко человек, избегая одной ошибки, впадает в другую и вместо похвалы получает порицание.

XLI

Итак, самое безопасное в образе жизни и в общении – придерживаться некой честной середины, этого поистине самого надежного и крепкого щита от зависти, которой нужно беречься изо всех сил. И пусть наш придворный остерегается навлечь на себя имя обманщика или человека пустого, что иногда случается и с теми, кто этого не заслуживает. Поэтому пусть в разговорах остерегается выходить из границ правдоподобия и не слишком часто высказывает «правду, имеющую обличье лжи»[209], – как многие, которые ни о чем другом так не любят поговорить, как о чудесных случаях, и хотят, чтобы каждому такому их рассказу верили.

Иные при самом начале дружбы, чтобы приобрести доброе расположение нового друга, в первый же день клянутся, что нет человека в мире, которого они любили бы больше него, что они с радостью отдадут за него душу, и плетут

---

[208] Передано у Светония (Божественный Юлий. XLV, 2).

[209] Отсылка к Данте: «Для правды, имеющей обличье лжи, / Человек должен, по возможности, замыкать уста, / Ибо это без вины приносит срам» (Ад. XVI, 124–126; подстрочный пер. мой – П. Е.).

тому подобные нелепицы; а расставаясь с ним, делают вид, будто плачут и не могут вымолвить слова от печали. Слишком желая, чтобы их сочли любезными, они сами заставляют думать о себе как о лживых и глупых льстецах. Но слишком долго и тягостно было бы рассказывать о всех просчетах, какие может сделать человек в разговоре. А относительно того, что я хотел бы видеть в придворном, сверх уже сказанного, лишь прибавлю: пусть в разговоре он будет доброжелателен, приноравливается к тому, с кем говорит, умея некой мягкостью успокаивать души слушателей и приятными шутками и остротами осмотрительно подводить их к радости и смеху, так чтобы, не надоедая и даже не насыщая, оставаться всегда приятным.

XLII

Надеюсь, синьора Эмилия все-таки позволит мне умолкнуть; если же нет, то из своих же слов я вынужден буду убедиться, что сам я – совсем не тот хороший придворный, о котором рассказывал. Ведь я не в силах не только передать чужие здравые суждения, ни сегодня, а может, и никогда здесь не звучавшие, но и просто высказать собственные мысли, ценные или нет.

Синьор префект улыбнулся на эти слова:

– Я бы не хотел, чтобы у кого-либо здесь создалось ложное впечатление, будто вы плохой придворный. Ибо, конеч-

но, вы желаете замолчать, лишь бы не трудиться, а не потому, что вам не о чем сказать. Поэтому, чтобы, ведя столь прекрасный разговор в столь достойном кругу, нам ничего не упустить, будет достаточно, если вы нас научите, как должно применять шутки, о которых вы упомянули, и покажете нам искусство, объемлющее весь этот род приятного общения, чтобы приличным образом вводить в беседу смех и веселье, так как я и вправду считаю это искусство весьма важным и вполне приличным для придворного.

– Мой государь, – отвечал мессер Федерико, – шутки и остроты чаще бывают даром и милостью природы, нежели плодами искусства; но еще в этом некоторые народы смышленее, чем другие; так, например, тосканцы – известные острословы. Кажется, это довольно свойственно также испанцам. Но немало и в этих, и в других народах таких шутников, которые подчас, от излишней говорливости переходя границы, становятся безвкусными и нелепыми; они уже не обращают внимания ни на то, какого сорта люди перед ними, ни на место, где находятся, ни на время и не думают о достоинстве и мере, которые должны соблюдать.

XLIII

– Вы отрицаете, что в шутках может быть что-то от искусства? – спросил синьор префект. – Но при этом, порицая тех, кто не соблюдает в шутках достоинства и серьезно-

сти, не разбирает ни времени, ни лица, по-моему, сами же доказываете, что этому возможно обучать, подчиняя шутки определенным правилам.

– Эти правила, мой государь, – отвечал мессер Федерико, – настолько всеобщи, что уместны и полезны в любом деле. Но я сказал, что в шутках нет ничего от искусства, вот почему. Как мне представляется, шутки бывают только двух видов. Один – развертывается в довольно длинное повествование; мы видим, как некоторые люди рассказывают о том, что с ними произошло, что они видели и слышали, так талантливо и живо, что жестами и словами будто дают нам увидеть это своими глазами и даже потрогать руками. Манеру их рассказа можно назвать, чтоб не искать другого слова, забавной или галантной. Другой вид – шутки совсем короткие. К ним относятся высказывания меткие и острые, какие часто можно слышать среди нас, а порой и язвительные: даже думаю, что без некоторой колкости они потеряли бы свою прелесть{210}; у древних они именовались афоризмами, теперь иные называют их остротами. Итак, я хочу сказать, что в шутках первого рода, то есть в шутливом рассказе, не требуется ничего от искусства, ибо сама природа создает и воспитывает человека, способного увлекательно рассказывать; это

{210} Ср.: Цицерон. Об ораторе. II, 69: «Итак, комизм предметов бывает двух видов: они уместны тогда, когда оратор в непрерывно шутливом тоне описывает нравы людей и изображает их так, что они или раскрываются при помощи какого-нибудь анекдота, или же в мгновенном передразнивании обнаруживают какой-нибудь приметный и смешной недостаток».

она дает ему лицо, жесты, голос и подходящие слова, чтобы изобразить то, что он хочет. В шутках другого рода, то есть в остротах, что и делать искусству? Ведь острие этой шутки должно попасть в мишень еще прежде, нежели может показаться, что сострил как-то мог ее обдумать; а иначе она выйдет несмешной и не произведет никакого воздействия. Поэтому я считаю все это делом таланта и природы.

Тут вступил в разговор мессер Пьетро Бембо:

– Синьор префект не отрицает сказанного вами, что природа и дарование стоят на первом месте, особенно в том, что касается выдумки; но можно определенно утверждать, что в душе каждого человека, с любой степенью одаренности, возникают замыслы как хорошие, так и дурные, в большей или меньшей степени, а потом искусство их оттачивает и исправляет, помогая избирать хорошее и отвергать дурное. Поэтому, оставив относящееся к дарованию, покажите нам то, что принадлежит области искусства; то есть расскажите о шутках и остротах, вызывающих смех: какие из них приличны придворному, а какие нет и в какое время, каким образом подобает их применять. Вот чего ждет от вас синьор префект.

XLIV

– Здесь нет ни одного, кому бы я не уступал во всем, а в остроумии и подавно, – сказал мессер Федерико, улыбаясь. –

Кроме разве что, может быть, глупостей, которые часто смешат людей больше, чем разумные слова, когда их принимают как шутку.

И он повернулся лицом к графу Лудовико и мессеру Бернардо Биббиене:

– Вот кто мастера! Если мне придется говорить о шуточных словах, я должен сперва поучиться этому у них.

– Кажется, вы занялись тем самым, в чем якобы ничего не понимаете, – отозвался граф Лудовико. – То есть хотите насмешить всех присутствующих, вышучивая мессера Бернардо и меня. Ведь каждый знает, что вы сами намного больше обладаете тем, за что хвалите. Так что, если уж вы устали, лучше просто попросить милости у синьоры герцогини, чтобы та перенесла разговор на завтра, чем уклоняться от труда уловками.

Мессер Федерико попытался было возразить, но синьора Эмилия тут же остановила его:

– Это нарушение порядка: мы ведем этот разговор не для того, чтобы то одного, то другого расхваливать. Достаточно того, что все здесь прекрасно друг друга знают. Но поскольку я не забыла, что вы, граф, вчера обвинили меня в неравном распределении трудов, то хорошо, пусть мессер Федерико отдохнет, а поручение рассказать о шутках возложим на мессера Бернардо Биббиену, ибо не только знаем его как большого шутника в разговорах, но и помним, что он не раз обещал написать нечто на эту тему; стало быть, можно ве-

рить, что он много об этом думал и вполне удовлетворительно сможет нам рассказать. А потом, когда поговорим, сколько уж придется, о шутках, мессер Федерико доскажет то, что еще осталось, о придворном.

– Синьора, уж и не знаю, что мне еще осталось сказать, – отвечал мессер Федерико. – Но я, подобно путнику, который прошагав полдня, уже утомился, отдохну немного во время речи мессера Бернардо под звук его слов, словно в тени какого-нибудь приятнейшего дерева, под нежное журчание живого источника{211}. И может быть, потом, собравшись с силами, смогу сказать что-то еще.

В ответ мессер Бернардо лишь рассмеялся:

– Если я вам покажу мою макушку, сами увидите, хватит ли вам тени от листвы моего дерева. Послушать журчание этого живого источника вам, может быть, и удастся, поскольку я уже однажды был превращен в источник (не одним из древних богов, но нашим фра Мариано) и с тех пор вода во мне не иссякает.

При этих словах все рассмеялись, потому что смешная проделка, которую имел в виду мессер Бернардо, произошедшая в Риме в присутствии Галеотто, кардинала церкви Святого Петра во Узах, была всем прекрасно известна{212}.

{211} В оригинале угадывается аллюзия на стихи Петрарки (Канцоньере. CCXXXI).

{212} Галеотто Франчотти делла Ровере (1477 или 1480–1508) – племянник папы Юлия II, сделавший при понтификате дяди молниеносную церковную карьеру. Епископ Лукки, Беневента и Виченцы, вице-канцлер Святого престола. См.

XLV

Когда смех наконец утих, синьора Эмилия сказала:

– Прекращайте уже смешить нас своими шутками, а лучше научите, как их использовать, откуда черпать, да и всему остальному, что знаете об этом предмете. И чтобы не терять более времени, сейчас сразу и начинайте.

– Да стоит ли? – отозвался мессер Бернардо. – Час уже поздний. Чтобы моя речь о шутках не вышла неостроумной и скучной, лучше, может быть, отложить ее до завтра?

Многие тут же стали возражать, что еще не поздно, что совсем еще не время прекращать разговор. Тогда мессер Бернардо сказал, обращаясь к синьоре герцогине и синьоре Эмилии:

– Я не собираюсь уклоняться от поручения, хотя, как сам обычно удивляюсь людям, которые осмеливаются петь под виолу в присутствии нашего Якопо Сансекондо {213}, так же

также примеч. 182. Из того, что Кастильоне не сопроводил это место комментарием, можно предположить, что случай, упоминаемый здесь, был известен кругу его читателей еще спустя почти двадцать лет после разговора. Но в сохранившихся воспоминаниях и переписке современников о нем нет сведений, – возможно, потому, что его неудобно было предавать письму. Фра Мариано слыл мастером чрезвычайно озорных и подчас непристойных проделок.

{213} Якопо да Сансекондо (ок. 1468 – после 1524) – знаменитый певец и музыкант. В начале XVI в. служил при дворах Мантуи, Феррары, Урбино; во время понтификата Льва X был приглашен в Рим. Пьетро Аретино в едкой шутке приводит его в пример безудержного распутства. Кастильоне в одном из писем

не подобало бы мне рассуждать о шутках в присутствии тех, кто разбирается в предмете моей речи гораздо больше меня. Но чтобы не давать этим господам предлога отказываться от вверенного им дела, изложу сколь возможно кратко то, что приходит на ум относительно вещей, вызывающих смех.

Смех настолько свойственен нам, что, описывая человека как вид, подчас называют его «животным, способным к смеху», – ибо смех можно наблюдать только у людей, и почти всегда он является знаком некоего веселья, ощущаемого в душе, которая от природы влечется к удовольствию и желает покоя и развлечения, для чего люди находят много всяких средств, таких как празднества и разного рода зрелища. И поскольку мы любим то, что приносит нам развлечение, у древних царей, у римлян, у афинян, у многих других было в обычае, с целью стяжать благоволение граждан и насытить взоры и умы толпы, возводить большие театры и другие публичные здания, устраивая в них небывалые игры, скачки, бег на колесницах, сражения, представления с удивительными животными, трагедии и морески{214}. Этих зрелищ не чурались даже строгие философы, которые часто своим умам, из-

---

1522 г. смутно упоминает о каких-то несчастьях, постигших певца в это время. Предположительно, послужил Рафаэлю моделью для изображения Аполлона в композиции «Аполлон на Парнасе» (Станцы Рафаэля, Ватикан).

{214} О мореске см. примеч. 49. Возможно, здесь этим словом анахронистически означаются культовые пляски с оружием (как, например, римские культовые танцы куретов и салиев) или же древние мимы – фарсовые представления, которые, как и некоторые морески, имели в себе эротический элемент.

нуренным высокими рассуждениями и божественными мыслями, давали отдых в подобных зрелищах и в пирах, то есть в том, в чем с удовольствием проводят время и все остальные люди. Ибо не одни земледельцы, моряки и другие, кто живет суровым и тяжким ручным трудом, но и святые монахи, и узники, с часу на час ждущие смерти, ищут какого-то целительного средства для развлечения.

Все, вызывающее смех, веселит душу и доставляет удовольствие, на время прогоняя от человека удручающие тяготы, которыми наполнена наша жизнь. Поэтому, как видите, смех желанен всем, и весьма достоин похвалы тот, кто умеет вызывать его в подобающее время и достойным образом. Но что такое этот смех, где он таится и каким образом подчас охватывает наши жилы, глаза, уста и бока, которые мы, кажется, вот-вот надорвем от смеха, – да так, что всей нашей силы не хватает его сдержать? Судить об этом я предоставляю Демокриту{215}, который хоть, кажется, и обещал, но все-таки не смог рассказать об этом.

{215} Буквально заимствовано у Цицерона. Ср.: Об ораторе. II, 58: «…о том, что такое смех, как он возникает, где его место в нашем теле, отчего он возбуждается и так внезапно вырывается, что при всем желании мы не можем его сдержать, каким образом он сразу захватывает легкие, рот, жилы, лицо и глаза, – обо всем этом пусть толкует Демокрит…» Демокрит, как в древности, так и в эпоху Возрождения, представлял собой типическую фигуру «смеющегося философа», в противоположность «плачущему философу» – Гераклиту.

XLVI

Итак, ситуация, в которой возникает смешное, и, можно сказать, сам его источник есть некая нелепость; ибо смеются всегда над тем, что нелепо, что выглядит дурно, но не является дурным{216}. Я не умею объяснить это иначе; но если обратите внимание на самих себя, то увидите, что мы почти всегда смеемся над чем-то неподобающим, которое, впрочем, не есть зло. Какие же способы должен использовать придворный, чтобы вызывать смех, и до какого предела? Попытаюсь рассказать вам об этом в меру моего разумения. Ибо смешить придворному не всегда прилично; и отнюдь не прилично ему вызывать смех так, как вызывают его сумасшедшие, пьяные, глупцы и даже шуты. И хотя и кажется, что при дворах привечают людей и такого рода, они не заслуживают звания придворных, но сообразно их имени каждый из них так и оценивается, каков он есть.

Вызывая смех колкостями, надо с осторожностью соблюдать предел и меру, принимая во внимание также и личность того, кому эти колкости адресованы. Ибо отнюдь не смешно,

---

{216} Par che stian male, senza però star male. В этом месте также почти дословно повторяется Цицерон; однако Кастильоне сознательно меняет его мысль. Ср.: Об ораторе. II, 58 / Пер. Ф. Петровского: «…источник и, так сказать, область смешного – это, пожалуй, все непристойное и безобразное; ибо смех исключительно или почти исключительно вызывается тем, что обозначает или указывает что-нибудь непристойное без непристойности».

когда вышучивают убогого или находящегося в беде. Не подобает смеяться и над заведомым злодеем и преступником, ибо такие заслуживают большего наказания, чем шутки. А смеяться над убогими самой человеческой душе претит, разве кто из них в самом убожестве своем кичится и ведет себя с гордостью и превозношением. Не следует задевать и тех, которые всеми почитаемы и любимы, а также могущественных, ибо, смеясь над такими, можно подчас приобрести опасных врагов. Поэтому пристойно шутить и смеяться над пороками, живущими в людях не столь убогих, что они вызывали бы сострадание, не столь порочных, что они представляются заслуживающими казни, и не столь значительных, что даже мелкое досаждение, причиненное им, способно навлечь большую беду.

XLVII

Еще надо знать, что те же ситуации, в которых рождаются смешные остроты, рождают и серьезные слова похвалы и порицания, – и подчас это одни и те же слова. Так, желая похвалить щедрого человека, который все свое разделяет с друзьями, бывает, говорят: «То, что он имеет, – не его»; то же самое можно сказать в порицание тому, кто украл или другим дурным способом приобрел свое имение. Еще говорят: «Этой женщины на всех хватает», желая похвалить ее разумность и доброту; и то же самое может сказать желаю-

щий ее опорочить, имея в виду, что эта женщина принадлежит всем.

Но чаще случается, что повод к этому подают не одни и те же слова, но одни и те же ситуации. Так, на днях стояли в церкви за мессой три рыцаря и одна дама, к которой питал любовь один из этих троих. И тут появляется нищий попрошайка и, остановившись перед дамой, начинает выпрашивать у нее милостыню, повторяя раз за разом свою мольбу жалобным голосом, даже со стоном. Она же ему и милостыню не подает, и не отказывает, чтобы он шел с Богом, но стоит с отсутствующим видом, словно задумавшись о чем-то другом. Тут влюбленный рыцарь говорит своим товарищам: «Видите, на что могу я надеяться от моей госпожи. Она так жестока, что не только не подает милостыню этому бедняге, раздетому и умирающему с голоду, который так мучительно и долго ее умоляет, но даже не отсылает его. Так сладко ей видеть перед собой того, кто, изнемогая от мук, напрасно взывает к ее состраданию». Один из друзей отвечает: «Здесь не жестокость, но молчаливый урок для вас: госпожа дает вам понять, что никогда не окажет снисхождения тому, кто, умоляя ее, слишком назойлив». А другой говорит: «Напротив, она извещает, что не даст вам того, о чем вы просите, но ей нравится, когда ее об этом просят». Вот вам пример: то, что эта госпожа не отослала прочь нищего, породило три высказывания: суровое порицание, умеренную похвалу и колкую шутку.

XLVIII

Итак, вернусь к разъяснению относительно видов шуток, которые мы разбираем. Я разделил бы их на три вида, хотя мессер Федерико упомянул только два: увлекательный и приятный связный рассказ, заключающий в себе некую последовательность событий, – и моментальная и остроумная реакция, сводящаяся к одному краткому высказыванию. К ним мы прибавим еще и третий вид, который называется «burle»{217}, среди которых встречаются и длинные рассказы, и короткие высказывания, и даже некоторые действия. Первые представляют собой связное повествование, будто человек рассказывает новеллу, например:

«В те дни, когда умер папа Александр Шестой и был возведен на престол Пий Третий, мессер Антонио Аньелло – ваш мантуанец, синьора герцогиня{218}, – находясь в Риме, в папском дворце, среди разговоров о смерти одного, о поставлении другого, обмениваясь с друзьями суждениями на этот счет, сказал: „Господа, еще во времена Катулла двери умели говорить без языка и слушать без ушей, так что могли

{217} Burla – в бытовом значении: шутка, а также – чепуха (ит.), от лат. burra – пустяк, безделица. Использование этого слова в специальном смысле в XVI–XVII вв. привело к выделению определенной разновидности комического под именем бурлеска.

{218} Графы Аньелли – семейство родовитой мантуанской знати; с XII по XVIII в. его представители занимали высокие места при герцогском дворе.

таким образом открывать супружеские измены{219}. И хоть люди теперь совсем не те, что тогда, но, возможно, двери, многие из которых, во всяком случае в Риме, отделываются древними мраморами, еще имеют прежнее свойство. Кажется, вот эти две могли бы прояснить все наши сомнения, коль захотим мы узнать их ответ“. Услышав это, его друзья остановились, переглянулись и замерли, ожидая, что будет дальше. А мессер Антонио, продолжая расхаживать туда и сюда, поднял глаза, как бы невзначай, на один из входов в залу, в которой они прогуливались, и, показав товарищам надпись с именем папы Александра и цифрами V и I на конце (как вы прекрасно понимаете, они означают „шестой“), сказал: „Вот эта дверь, например, говорит: «Papa Alexander vi», то есть что он стал папой, опираясь на силу{220}, и в правлении пользовался больше силой, чем разумом. Теперь посмотрим, сможем ли мы узнать у какой-нибудь другой двери что-то о новом папе“ – и, обернувшись, тоже как бы случайно, к другому входу, указал на надпись, где была буква N, две PP и V, что означало «Папа Николай V“, и сказал: „Ох, снова горе; смотрите, что сказано: Nihil Papa Valet“»{221}.

{219} Ср.: Катулл. Песнь 67: «Слышала я, и не раз, как хозяйка, бывало, служанкам / Много болтала сама о похожденьях своих, / <…> (Будто бы нет у дверей ни языка, ни ушей!)» (пер. С. Шервинского).

{220} Vi – латинское слово «vis» (сила) в форме аблативного падежа, который может означать орудие или образ действия. Действительно, надпись может быть прочтена как: «Папа Александр – силой».

{221} «Папа ничего не стоит» (лат.). Это и еще несколько мест книги, в которых

XLIX

Как видите, этот вид шуток имеет в себе и элегантность, и добрый смысл, – а ведь так и подобает говорить человеку, служащему при дворе, рассказывая хоть правду, хоть вымысел. Ибо в таких случаях позволительно и придумывать, сколько нравится, не навлекая на себя вины, и, говоря правду, чуть приукрашивать ее выдумками, меньше или больше, по мере надобности. Но совершенное изящество и подлинное достоинство достигается, когда показываешь то, что хочешь выразить, и словами, и жестами, столь хорошо и непринужденно, чтобы слушателям казалось, будто они воочию видят, как происходит то, о чем повествуется. И такой силой обладает этот выразительный метод, что подчас украшает и делает забавным даже то, что само по себе ничуть не выразительно и не искусно.

Хотя для этих рассказов потребны и жестикуляция, и убедительность, свойственная живому голосу, но их яркость проявляется порой и на письме. Кто не смеется, когда в Восьмом дне своей сотни новелл Джованни Боккаччо рассказывает, с каким усердием пел «Кирие» или «Санктус» священник из Варлунго, зная, что в церкви стоит его любимая Бель-

---

Кастильоне затрагивает недостойных понтификов, епископов и монахов, дали повод для включения «Придворного» в «Индекс запрещенных книг» (1576).

колоре?{222} Весьма увлекательна манера рассказа также в новеллах о Каландрино{223} и многих других.

Думаю, к тому же роду шуток относится и то, когда смешат, передразнивая или искусно подражая. И в этом я до сих пор не видел никого искуснее, чем наш мессер Роберто да Бари.

L

– Ваша похвала дорого бы стоила, будь она правдой, – сказал мессер Роберто. – Ибо я, конечно, более старался бы подражать доброму, чем дурному. И будь я вправду способен уподобиться некоторым моим знакомым, счел бы себя счастливым. Но боюсь, что не умею подражать ничему, кроме качеств, вызывающих смех, о которых вы только что сами сказали, что они заключаются в каком-либо недостатке.

Мессер Бернардо отвечал:

– В недостатке – да, но что он зло – этого я не сказал. И должно знать, что подражание, о котором мы говорим, невозможно без таланта. Стало быть, кроме умения подде-

---

{222} Боккаччо. Декамерон. День VIII, новелла 2. Упоминаются песнопения из чина мессы: «Kyrie eleison» («Господи, помилуй», греч.) и «Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cæli et terra gloria tua» («Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф. Полны небеса и земля славы Твоей», лат.).

{223} Каландрино – персонаж четырех новелл Восьмого и Девятого дней «Декамерона» (VIII, 3; VIII, 6; IX, 3; IX, 5), суеверный простофиля, над которым потешаются, обманывая его, хитрецы Бруно и Буффальмакко.

лываться под речь и жесты, выводя как бы воочию выражение лица и повадки того, о ком идет рассказ, нужно быть осмотрительным и, как уже было прежде сказано по части шуток, различать место, время и лицо тех, к кому обращаешься, не опускаясь до паясничанья и не выходя из границ, – которые, впрочем, вы-то прекрасно соблюдаете, и поэтому полагаю, что и знаете хорошо. Ибо, в самом деле, благородному человеку не к лицу делать гримасы, изображая плач или смех, копировать голоса, колотить самого себя, как Берто, переодеваться на публике в нищего поселянина, как Страшино{224}, – и тому подобные вещи, для них вполне приличные, ибо составляют их ремесло. Нам же приходится заимствовововать что-то от их подражания как бы походя и скрытно, украдкой, всемерно соблюдая достоинство дворянина, воздерживаясь как от грязных слов, так и от малопристойных жестов, не искривляя безудержно лица или тела – но совершая движения так, что слушающий и видящий нас по нашим словам и жестам воображал бы гораздо больше, чем слышит и видит, а при этом его разбирал бы и смех. И следует избегать в этом подражании излишней язвительности, особенно когда воспроизводишь безобразные черты лица или фигуры. Ибо телесные недостатки подчас служат хорошим средством возбуждения смеха тому, кто пользуется

{224} О Берто см. примеч. 57. Никколо Кампани, по прозвищу Страшино (1478–1523) – актер и автор театральных фарсов; после 1513 г. был шутом при дворе папы Льва X.

этим осмотрительно, но использовать их с излишней жестокостью достойно даже не столько шута, сколько врага. Так что нужно, хоть оно и нелегко, придерживаться в этом, как я уже говорил, манеры нашего мессера Роберто. Он копирует любого человека, причем не без колкости, включая его недостатки, и даже в присутствии его самого, – однако никто не возмущается, никому не приходит в голову видеть в этом зло. Я обойдусь без примеров: у него каждый день мы видим их без счета.

LI

Очень сильно возбуждает смех (впрочем, смешное здесь заключается в самой манере рассказа) умелое изображение некоторых недостатков людей – не тех недостатков, что серьезны и достойны кары, а средних, выражающихся просто в глупых поступках, – или само по себе, или с приправой раскованного и едкого гротеска. Заставляют смеяться и примеры какой-нибудь крайней нарочитости, и подчас безудержные, хорошо сочиненные фантастические россказни.

Например, несколько дней назад мессер Чезаре рассказал нам про одну отменную глупость. Находясь у подеста этого города, он увидал крестьянина, пришедшего с жалобой на то, что у него украли осла. Сетуя на свою бедность и на то, как провел его этот вор, он, чтобы подтвердить безмерность своей потери, сказал: «Мессере, видели бы вы моего осла,

так поняли бы, что не зря я о нем горюю. Посмотришь, бывало, на него, как идет с поклажей, – что твой Туллий!»[225]

А один из наших друзей, встретив по дороге большое стадо коз, впереди которого шествовал важный козел, остановился и с изумленным лицом изрек: «Посмотрите, каков красавец козел! Вылитый апостол Павел!»[226]

А еще, помните, как синьор Гаспаро рассказывал об одном знакомом ему человеке? Будучи с давних лет слугой феррарского герцога Эрколе[227], он предложил ему двух своих маленьких сыновей в пажи, но оба умерли, не дожив до возраста, когда могли бы поступить на службу. Государь, узнав об этом, с любовью разделил скорбь отца, сказав, что он тоже весьма огорчен, ибо, когда он единственный раз их

---

[225] Туллий – древнеримское родовое имя. Здесь комический эффект производит припоминание о самом знаменитом носителе этого имени – Марке Туллии Цицероне, имя которого поселянин, вероятно, слышал в речи кого-то из образованных людей.

[226] В христианской иконографии издревле утвердился обычай изображать ап. Павла с удлиненной, сужающейся книзу, бородой. Искусство готики и Ренессанса (Витторе Кривелли, Витторе Карпаччо, Антониаццо Романо и др.) подчас представляло его бороду особенно длинной и густой.

[227] Эрколе д'Эсте (1431–1505) – сын Никколо III, маркиза Феррары, Модены и Реджо. Взошел на престол в 1471 г. после сводного брата Борсо, при котором владетели Феррары получили герцогское достоинство. Путем престижных брачных союзов, выгодных дипломатических связей и постоянного наращивания военных сил сделал Феррару одним из наиболее могущественных государств Италии. Проводимая Эрколе политика покровительства по отношению к евреям, изгнанным из Испании и Португалии, послужила мощному притоку в Феррару банковского и торгового капитала.

видел, они показались ему очень красивыми и скромными мальчиками. Отец отвечал: «Государь мой, да то, что вы видели, еще не великое дело. Они через пару дней после того стали куда красивее и толковее, чем я сам мог бы поверить; а уж как пели на пару – ну прямо два сокола».

Или еще: на днях один наш знакомый ученый увидел какого-то молодца, которого по приговору суда принародно высекли на площади. Этот бедолага, у которого вся спина страшно сочилась кровью, шел так неспешно, будто прогуливался в свое удовольствие. Доктор, исполнившись сочувствия, ласково сказал ему: «Поспеши уже, бедняжечка, чтобы поскорее уйти от всего этого ужаса». И тут этот молодчик остановился, повернулся к нему, посмотрел с изумлением и, помолчав какое-то время, сказал: «Вот когда высекут тебя, тогда будешь ходить, как нравится тебе; а уж мне позволь ходить, как нравится мне».

Но вы, вероятно, помните еще ту изрядную глупость, о которой недавно рассказывал синьор герцог. Один аббат, присутствуя при том, как герцог Федерико держал совет, что делать с огромным количеством земли, выкопанной при закладке фундаментов этого дворца, который тогда еще строили, сказал: «Государь, у меня есть прекрасная идея. Прикажите выкопать большущую яму, и пусть все, без лишних хлопот, просто свалят в нее». Герцог Федерико отозвался, еле сдерживая смех: «А куда денем землю, которая останется, когда выроем эту яму?» И аббат невозмутимо продол-

жил: «А вы сделайте такую глубокую, чтобы хватило и на ту землю, и на эту». И хотя герцог не раз и не два ответил ему, что чем глубже яма, тем больше будет вынуто земли, его голова не могла вместить, что нельзя сделать такую яму, чтобы вошло то и другое. Он все только твердил свое: «Значит, сделайте еще глубже». Вот как был крепок умом этот аббат.

LII

– А что же вы не расскажете про вашего флорентийского комиссара? – вставил мессер Пьетро Бембо. – Он был осажден в Кастеллине герцогом Калабрийским[228]; и когда однажды нашли внутри города снаряды с отравой[229], выпущенные из лагеря осаждающих, он написал герцогу, что если дошло до таких жестоких средств, то он будет мазать отра-

---

[228] Кастеллинаин-Кьянти – укрепленный городок в южной части владений Флорентийской республики, имевший немалую стратегическую ценность. Описывается эпизод войны 1478 г. между Флорентийской республикой и коалицией Неаполитанского королевства, Папского государства и Сиены. Объединенным войском союзников командовал наследник неаполитанского престола принц Альфонсо (см. примеч. 23), носивший титул герцога Калабрийского. Осада закончилась сдачей города и временным его переходом под власть Сиены.

[229] В оригинале «passatori». Это слово в военном языке эпохи имело два значения: 1) полые снаряды, начиненные ядом или легковоспламеняющейся смесью (другое их название – «свинцовые желуди»), и 2) копья, метаемые из баллисты. При значительном развитии артиллерии метательные машины, более удобные в транспортировке и разнообразные в применении, продолжали использовать и совершенствовать не только в XV, но и в XVI в.

вой ядра городской артиллерии, и посмотрим, кому придется хуже{230}

{230} Глупость ответа в том, что при выстреле из пушки отрава не могла сохранить свое действие. Этот анекдот, навряд ли исторически достоверный, можно скорее отнести к популярному вплоть до наших дней в любой части Италии фольклорному жанру насмешек над жителями других ее местностей. К этому жанру, как увидим ниже, и переходит разговор. В XV–XVI вв. борьба между Флоренцией и Сиеной во флорентийской литературе отражалась, в частности, через неустанное высмеивание сиенцев как тупиц. Как видим, противники платили флорентийцам той же монетой. На самом деле технической стороной борьбы за Кастеллину заведовали два блестящих специалиста: со стороны осаждавших – Франческо Мартини (1439–1501), сиенский архитектор, художник и военный инженер, автор трудов по теории архитектуры и военному искусству, а со стороны обороняющихся – флорентиец Джулиано ди Сангалло (1445–1516), не менее знаменитый архитектор, скульптор и военный инженер.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания